Глеб Горышин

ПОВЕСТВОВАНИЕ В ДВУХ ЧАСТЯХ (ВИЗИТАХ)

ВИЗИТ ПЕРВЫЙ

I

...и в пабе том провинциальном,
от центров шумных в стороне
я пиво пил — принципиально! —
не в стенах паба, а вовне.

...Все последующее написано в вагонах трансъевропейских поездов: Берлин-Кельн; Кельн-Остенде; на пароме Остенде-Дувр (англичане зовут паром "Ферри"); Дувр-Лондон... И в обратном направлении, до Варшавы... В Европе можно в поезде делать путевые записи своим собственным, неизменным почерком: вагон не трясет... Впрочем, многое записано в английском городке Дорридже, с трехтысячном населением, в Мидлэнде, то есть в Средней Англии, в доме Шерманов, Яна и Джин, на Уоррен Драйв, 12, на втором этаже, в светелке, с выключенным на ночь отоплением, незадолго до Рождества. Одна рождественская запись привезена из Варшавы. Дома дописывалось то, что не вытряслось из памяти.

Рисунки Эвелины Соловьевой

Однако все по порядку. Как-то под вечер, а именно 17 сентября 1987 года, я вышел из моего дома на канале Грибоедова, 9, в котором витают духи когда-то здесь живших писателей: Заболоцкого, Хармса, Шишкова, Зощенко, Ольги Форш, Соколова-Микитова (полный списочный состав предвоенного Союза писателей Ленинграда)... Духи — народ молчаливый, с нами не разговаривают; обмен мнениями с ними — духами — пока откладывается на потом... Окна нашего дома выходят не только на канал; в окошко я ежеутренне вижу, как из подъезда дома напротив, в Чебоксарском переулке, из морга больницы имени Софьи Перовской выносят ногами вперед покойника, погружают в машину с черной опояской... Провожающие с цветами плачут, о чем-то переговариваются, топчутся, курят. Иногда за утро выносят двух покойников, царствие им небесное. А нам дальше жить, не упуская из виду собственное место в очереди... на вынос...

Только непонятно, почему больнице — приюту милосердия — присвоили имя бомбистки Софьи Перовской... Софья Львовна Перовская все силы своей души отдала тому, чтобы вернее кинуть бомбу в царя Александра II... В 1883 году суд присяжных приговорил ее к повешению; приговор приведен в исполнение... Александр Исаевич Солженицын посвятил много проникновенных страниц в "Архипелаге ГУЛАГе" милостивой, бескровной юриспруденции в царской России, до 17-го года... Так, стрелявшую в петербургского градоначальника Трепова Веру Засулич присяжные признали невиновной... А Софью Перовскую все же повесили, что-то в ней было такое, за пределом милости... Почему же ее имя — больнице, где всяк, ступивший на порог, уповает на милость к нему — персонала больницы и Всевышнего?..

Дальше вглубь истории не иду; сказанное — для характеристики дома, из которого вышел в тот вечер, когда произошла завязка будущего путешествия. Путешествие тоже домашнее: из дома в дом в Англии; с заворотом на возвратном пути к нам на канал — и далее вглубь России. Экую предстоит описать загогулину — Боже мой!.. В тот вечер я отправился подышать воздухом в Михайловском саду, где липы и клены в меру сил поглощают углекислоту из атмосферы, а сидящие на скамейках девы нещадно ее отравляют дымом своих сигарет...

В этом традиционном месте прогулок и встреч мне попалась группа англоязычных. В группе предводительствовала переводчица Интуриста Татьяна. О, Татьяна! Мы бросились друг к другу... От взаимных объятий и поцелуев нас удержали правила поведения, усвоенные нами в школе, семье, комсомоле тех лет, когда не принято было обниматься и целоваться при посторонних.

Мы познакомились с Татьяной в Англии, в ноябре 1986 года; ее приставили к нашей туристической группе писателей переводчицей-гидом. Все мы тогда относились к Татьяне любезно, даже искательно:

русскоязычному на берегах туманного Альбиона без переводчицы дело швах. Один пожилой, грузный, смуглокожий, седовласый, кудрявый, с ласковыми желтыми глазами питона, только что проглотившего кролика, с биркой на чемодане — VIP: "very important person" — "очень важная персона", — в ту пору депутат Верховного Совета одной из южных республик (потом — депутат Верховного Совета СССР), относился к Тане, как босс к своей личной секретарше. Например, назначит Тане сводить его с бабой (баба у босса с выраженными славянскими чертами, русскоязычная, как в свое время у владыки Монголии Цеденбала или Грузии Мжаванадзе) в самый дорогой лондонский магазин одежды: там баба поперемеряет, покочевряжется, Таня попереводит, ни с чем и вернутся: у бабы народного депутата не те габариты. В разговорах кучерявый подчеркивал, что побывал в таких-то и таких-то странах по правительственному разряду; в Англию поехал ради собственной бабы... Поэксплуатируют Таню, после пригласят ее в номер и там... Таня сама мне рассказывала: баба очень важной персоны достанет большую банку с черной икрой, зачерпнет ложкой — не столовой, десертной — и Тане на блюдечко, за труды. Рассказывая, Таня посмеивалась, но иногда у нее в глазу проступала слеза. Прислуживаться ей было тошно, а и отказать не могла очень важной персоне.

Нас сблизило с Таней одно дело, сначала неприятное для меня, но обернувшееся, благодаря Тане, совсем неожиданным выигрышем. Дело вышло такое: мы прилетали из Москвы, из Шереметьева, в аэропорт Хитроу — самый крупный, самый напряженный по обороту, самый четкий, самый предупредительный к клиенту и т.д. и т.п. Только вылезли из самолета, тут тебе и вещички, пожалуйста, и мой желтый чемодан, купленный когда-то в Польше... Но в чемодане что-то не так, чего-то в нем не хватает. Ах, вот... На одном боку был карман, его вырвало с мясом на каком-то погрузочно-разгрузочном агрегате. С моим ободранным чемоданом я поспешил к переводчице Тане, как бежит со сломанной игрушкой к маме зареванное дитя. Около Тани уже стоял взволнованный, крайне возбужденный глава нашей группы московский драматург Н., не такая важная персона, как кучерявый, но, видимо, тоже персона: у его фээргэшного чемодана сломали застежку. Таня сказала, что урон возместят, на то и Англия, только надо все оприходовать и оформить. Таня куда-то сбегала, кого-то привела, о чем-то поторговалась, на наших глазах заполнила какой-то бланк, и нас заверила: все будет о'кей.

Потом о чемодане забылось; в нем и без кармана хватило места для того немногого, что позволили мне приобрести мои архискромные фунты, шиллинги и пенсы; привезенные в Англию бутылки, естественно, опорожнились, матрешки раздарились. В последний день пребывания (рано утречком в Хитроу — и гуд бай, Англия), под вечер Таня сказала, что надо срочно бежать в представительство нашего Аэрофлота — успеть

содрать с них причитающееся мне и драматургу [illegible] оказывается, английская сторона рассчиталась с советской стороной за по[illegible]ной нам с драматургом урон; теперь надлежит раскошелиться Аэроф[illegible]

В лондонском офисе Аэрофлота нас приняли хмуро, настороженно, как это заведено во всех советских присутственных местах: приходит проситель-соотечественник, значит, надо ему отказать, самим едва хватает того, что дают, поделиться нечем. Главным боссом в лондонском Аэрофлоте оказался молодой человек лет тридцати с небольшим, улыбающейся, ускользающей внешностью, с выражением заведомой непричастности ни к чему на лице. Одет был босс во все то, что продают на Оксфорд-стрит, в универмаге Маркса и Спенсера или еще где-нибудь. Глаза его выражали то же, что выражают билеты лото "Спринт" с надписью: "Без выигрыша"

Лондонский аэрофлотовский босс, когда прочел подсунутую ему Татьяной бумагу, тотчас подчеркнуто неприязненно отбросил ее, членораздельно нам объяснил, что вот мы... вернемся в Москву, предъявим бумагу в Шереметьево, там с нами и разберутся. Если есть за что, заплатят... Ну, конечно, советские деньги. В этом месте монолога аэрофлотовского босса я достал из подмышки приготовленную загодя книгу моих сочинений, спросил у хозяина кабинета, как его зовут... Таким образом монолог был прерван, босс с опаской поглядывал, что я пишу на титуле книги, принял ее от меня, долго вчитывался в только что написанное мной, общепринятое: "Такому-то с наилучшими пожеланиями от автора" Драматург Н. извлек из дипломата афишу, кажется таганрогского театра драмы, сказал, что сейчас его пьесу ставят в Москве на Таганке, на Малой Бронной и где-то еще. Он заверил каменно сидящего в кресле за большим столом с телефонами молодого человека, что когда тот приедет в Москву, позвонит ему, драматургу Н., билеты... с билетами нет вопросов. Драматург Н. подал боссу свою визитку, босс медленно, с усилием, как графолог, прочел ее. Он с минуту подумал, ход мысли отобразился на его беспечном, гладком, белом лице — легкой рябью, движениями светотени. Он отгреб от себя все ему презентованное, в глазах промелькнула решимость найденного хода.

— Мне нужен оценочный акт, — сделал свой ход в одновременной игре с нами троими аэрофлотский гроссмейстер. — Вы сходите в какой-нибудь магазин, где продаются чемоданы, пусть там оценят ваши вещи и причиненный ущерб... Принесете мне акт с печатью, из магазина. А так что же? они пишут двадцать пять фунтов, это же с потолка! — Босс взял со стола бланк аэропорта Хитроу, заполненный сразу по прилете Татьяной, на английском языке; я разглядел в бланке цифру 25, почти равную тому, что нам обменяли на поездку. У меня участилось сердцебиение. Игра стоила свеч.

— Мы улетаем завтра в семь часов утра, — застрекотала Татьяна, — сегодня мы уже не успеваем ни в один магазин до закрытия. Вы

ставите наших видных писателей вот, товарищ Н. —руководитель делегации, товарищ Г. — ведущий... в безвыходное положение. Они вынуждены вместо своих, испорченных по вашей вине чемоданов приобрести соответствующую тару, потратить валюту. Иначе они не смогли бы сделать покупок в Англии. Так не принято у порядочных людей. И я в своем отчете по линии Интуриста обязательно отмечу этот ваш недоброжелательный жест... — Татьяна еще много чего наговорила аэрофлотскому товарищу, все время срезала, сбивала, ошеломляла его, когда он пытался продиктовать условия, навязать свою игру.

И все же... этот стреляный воробей, этот тертый калач (не зря же он сидел в советском офисе на Бейкер-стрит) не собирался давать нам ни пенса. На улице стемнело, хозяин кабинета тянул резину, не зажигал свет, всем видом показывая, что аудиенция закончена. Тогда... в ход был пущен некий последний, так и оставшийся для меня таинственным аргумент... Хотя какая тайна — все мы под колпаком наших всевидящих органов, особенно за границей... Московский драматург Н. — руководитель нашей группы, приехавший в Лондон за наш же счет, — вдруг сменил выражение на лице, как-будто переоделся из цивильного платья в мундир... Он посмотрел на аэрофлотского босса каким-то особенным, сближающим, глаза в глаза, взглядом, изменившимся, вкрадчивым, с едва уловимым для стороннего уха обертонами голосом сказал:

— Перед отъездом сюда я заходил... — драматург Н. сделал что-то значащую паузу, — к Юрию Ивановичу... — Это вдруг подействовало на советского босса в Лондоне, что-то в нем вздрогнуло, встрепенулось. — По возвращении я тоже у него буду, — выговаривал драматург построжевшим тоном. —Что-нибудь передать Юрию Ивановичу от вас?

— Да нет, пока ничего не надо, — задергался аэрофлотский товарищ, в чем-то, видимо, зависимый, как и драматург Н., от московского Юрия Ивановича. Опять-таки что-то прикинул в уме, на что-то решился, как-будто на отчаянно-щедрый поступок... —Ну вот что, ребята, по десять фунтей вам хватит?

— Хватит! хватит! — внезапная радость осуществления несбыточной надежды самым непосредственным образом отобразилась на наших с драматургом Н. лицах, прозвучала в поспешном согласии: как бы даватель не передумал...

Босс насупил реденькие белесоватые брови...

— Вот вам по листу бумаги, пишите расписки. — Мы достали перья, выразили готовность писать. — Значит, так... в представительство Аэрофлота, город Лондон... Я, такой-то... фамилию, имя, отчество полностью, прож. там-то... Теперь дальше: кто вы, члены Союза писателей или нет? Вы — члены? — Мы заверили, что да, члены. — Вот и напишите, что член... Ввиду то, что... Нет, лучше: в силу того, что... Нет, этого вообще не надо. Напишите так: "За причиненный ущерб моему

багажу при перелете Москва–Лондон, дата, номер рейса...» Так. Написали? Я получил полное материальное вознаграждение в представительстве Аэрофлота, город Лондон... Никаких претензий не имею. Так? Подпись, число. Сумму писать не надо.

Было заметно, что представителю Аэрофлота явилась какая-то счастливая мысль, он посветлел лицом. Достал из внутреннего кармана пиджака... нет, не бумажник, а довольно-таки засаленную пачку фунтов стерлингов, с портретом английской королевы на каждой купюре (или короля, уже не помню, настолько коротким вышло владение купюрой), отклячил от пачки по червонцу и выдал. Принял наши знаки благодарности с важной невозмутимостью. Рандеву закончилось. Из него я вынес знание, почему нами руководят в зарубежных поездках те лица, а не иные.

После раунда в лондонском Аэрофлоте (было окрыляющее состояние: наша взяла!) Татьяна нам попеняла: «Можно было из него выбить и по двадцать пять». Драматург Н. малость взгрустнул: «Да, можно бы...» Я не смог скрыть обуревавшего меня восторга: целых десять фунтей в последний вечер в Лондоне! И, главное, ни из чего: мой чемодан без кармана стал даже более обтекаемым, аэродинамичным.

И все Татьяна! Ах, если бы не она... Так хотелось побыть с ней вместе в тот вечер, но сначала ее залучила к себе очень важная персона, потом, я видел, куда-то они побежали, озабоченные, с драматургом Н. Служба есть служба.

В Ленинграде, в Михайловском саду, Татьяна меня представила группе англоязычных, которых привезла и теперь прогуливала. Они разглядывали меня, как разглядывают зимовщики в Антарктиде пингвина. Что я им мог предложить? А предложить что-нибудь очень хотелось: не так просто встретиться-разминуться, а чтобы у них, англоязычных, остался бы какой-нибудь узелок на память. Я пригласил Татьяну с группой ко мне домой на чашку чая; англоязычные посовещались с Татьяной. Видно было, что группа сполна полагается на своего гида; Татьяна заверила группу в том, что я не бандит, не маньяк, не агент. Из группы выделились трое, как впоследствии оказалось, — семья Шерман: Ян, Джин, их дочь Кэт, тезка нашей Кати, тогда восемнадцатилетняя.

Все вышло хорошо, даже сыскался привезенный мною когда-то из Англии общеупотребительный там чай фирмы «Эрл Грей» с добавкой душистого бергамота. Шерманы записали наш адрес, наша Катя записала их (она тогда училась на последнем курсе английского отделения, на филфаке). Через какое-то время пришла из Средней Англии (Мидлэнд), из населенного пункта Доррidж, почтовое отделение Солихалл, бандеролька с пачкой «Эрл Грея» В Доррidж поехал большой московский пряник. После двух лет такого, ни к чему не обязывающего обмена презентами, а также поздравительными открытками на Новый год, из Средней Англии пришло письмо с определенными признаками приглашения: нам приехать

в Дорридж (почтовое отделение Солихалл), а затем... Ну да, затем приехать Шерманам к нам. Наши вежливо-благодарственные отписки на Шерманов не действовали: в исполнении принятых решений англичане, в отличие от русских, весьма тверды, неукоснительны.

Наконец мы получили бланк приглашения, скрепленный сургучной печатью какого-то первичного муниципального органа, по нашему, поссовета. Затеялось долгое, как обмен квартир, оформление, а тут и сюрприз: новый туристический курс обмена валюты. У нас сосчитано было, что наличные наши рубли мы обменяем на такое-то количество фунтов, а вышло по новому курсу в десять раз меньше. Наша наличность никак не могла удесятериться, а билеты куплены, график приема гостей у англичан расписан по дням и пунктам. Отказаться было бы свинством, а и поехать, когда в кармане вошь на аркане... Положиться можно было только на полное доверие к нам мало знакомых людей, живущих по ту сторону Европы, за морем, на их добросердечие.

По возвращении домой, положа руку на сердце, со вздохом облегчения можно сказать, что все так и вышло, без малейшей зазубринки; в скором времени к нам приедут теперь уже близкие наши английские друзья, почти родственники. В нашей воле воздать им добром за добро.

II

В данное время, а именно в 21 час по Гринвичу, едем в поезде Кельн-Остенде. Бросок поперек Европы (или, точнее, вдоль) проходит в стремительном темпе. Даже явился шанс достигнуть Лондона в пределах двух суток — от Ленинграда. Европа-то маленькая, не то, что наша супердержава (велика Федора да дура). Но шанс есть шанс: неизвестно, поплывет ли паром (фэрри) в ночь глухую через Ла-Манш...

Весь день за окнами быстро идущего поезда (окна широкие, высокие, мягко опускаемые) проносилось нечто непредвиденное посередке Европы: леса, поля, совершенно посеребренные, в серебристой дымке при ясном небе; солнце тоже в серебристом, дымчатом ореоле. Все в инее, куржаке, блестках, матовости, тончайшей кружевной выделанности. Потом пошли близко друг к дружке приросшие города; немецкая речь, немецкая архитектура без небоскребов, без "точек", как часть природы. Ну, и конечно, немецкая благоустроенность. И — благорасположение у меня на душе... И опять зачарованность полей, без каких-либо признаков "сельскохозяйственного производства"; только кое-где зеленые полосы убранных капустных грядок; кони резвятся; пасутся черно-белые коровы.

В Кельне явил себя Кельнский собор, как айсберг, изнутри освещенный, льдисто-голубоватый... И на чистом тоне свечеревшего неба — новорожденная узенькая новехонькая луна. И чуть повыше звезда. Скорее всего, Венера, та же, что и у нас...

Бельгия за окном. Потемки кромешные. В Брюсселе постояли едва пять минут, как-будто это станция Бологое... Впереди Остенде, паром, в Лондоне — вокзал Виктория... Трансъевропейское турне... Для чего все это? (Поляки говорят слитно: "длячего".)...

За столиком в вагоне поезда Кельн-Остенде, с настольной лампой, нерассеивающимся уютным светом, о чем-то весело болтает моя семья (я расположился с моим блокнотом поодаль): жена и дочка. Семье позарез нужно в Европу: Катя закончила английское отделение в университете, преподает; ей нужно поспикать на инглише, послужить нам, старшим, переводчицей. Моя жена Эвелина Павловна Соловьева!.. О! У меня нет слов описать все достоинства, таланты, волевые качества моей жены. Она известный ленинградский художник-график, везет в Англию папку офортов, литографий, рисунков (на каждом листе штамп ОВИРа: уплачена таможенная пошлина). Ее тема космическая, экологическая, несколько апокалиптическая; есть и запечатленные в зрительных образах строки русских поэтов — Рубцова, Вознесенского; цветы в благородном наклоне стеблей, лепестков; книжная графика... Эвелина Павловна Соловьева прихватила с собою в Англию недавно полученную маленькую медальку с зеленой ленточкой: она —блокадное дитя. В блокаду за младенцами охотились, чтобы съесть, но мама уберегла свою крохотулю. Покажет англичанам медаль, они же не знают, что такое блокада Ленинграда.

И я так мало знаю о членах моей семьи — самых близких людях, ближе никого не осталось в живых. Было время, казалось: наше, одно, что на лицах у нас, то и в душах; было и ушло: взрослая Катя отдалилась в мир неизвестных мне понятий, лиц, интересов. Жена в годами стала такой же почти молчаливой, как образы и символы на ее офортах; работа художника требует погружения в себя. А я я был совершенно предан идее того коммунизма, который провозгласил строительство общего дома для всех. (Одна из заповедей данного коммунизма состоит в пропивании заработанных денег с кем ни попадя на миру). Мой собственный дом остался недостроенным. Все годы куда-то я ехал, мчался на главную стройку, торопился догнать мой поезд, а поезд уходил.

Собираясь в Англию, я думал, что там, быть может, вернется в нашу семью что-то утраченное, внутреннее: нужда друг в друге; под воздействием чужой среды, с возникающими на каждом шагу проблемами семья сплотится, найдет в себе неистраченные флюиды взаимного тяготения, может быть, и любви... Сразу скажу, что никаких трудных проблем английская действительность нам не уготовила, напротив, приняла нас милостиво, по-английски благосклонно. Офорты и литографии художницы Эвелины Соловьевой уносились любителями искусств прямо с вернисажей — в гостиной дома Шерманов, в Дорридже, на Уоррен Драйв, 12, — взамен приносились в конвертах фунты стерлингов. Катя без умолку наяривала по-английски; англичане вежливо-сдержанно восхищались

английскостью Катиного произношения. Иногда по вечерам Катю куда-то увозили английские молодые люди (Шерманы нас заверяли, что все будет олл райт, мальчики из хороших семей); о чем они допоздна говорили, так же неведомо мне, как о чем говорят на уик-эндах у английской королевы.

Во время пребывания в Англии пожилому главе семейства отводилась именно та роль, каковая и надлежит: спускаться со второго этажа из светелки к общему столу — к кофе, ленчу, ужину, — а после сидеть, водрузив на нос очки, читать газету "Гардиан", пописывать свои английские заметки; впечатления можно было почерпнуть тут же: за окном стрекотали английские скворцы; папочка — большой любитель природы, в какой-то мере писатель-анималист. (Помню, в отзыве на одно из моих первых сочинений критик глубокомысленно заметил: "Горышин постиг душу зверя".) Впрочем, вполне возможно, что в саду у Шерманов стрекотали именно те самые скворцы, что летом вывели птенцов в скворечне напротив моей избы в деревне Нюрговичи, на Вепсской возвышенности. А зимовать улетели в Англию...

Чтобы утолить вдруг возникшую по ходу путевых заметок нужду в исповедальном самораскрытии (это еще от "исповедальной прозы", с которой я начинал путь в литературу), уведомлю читателей: я вернулся домой таким же, каким уехал, погруженным в бумаги, замыслы, несбыточные мечтания, в сладостно-слезную ауру одиночества, при экстерриториальности в семье. Едва ли откуда-нибудь явится перемена (ежели не вызреет в самом себе); с этим надо смириться, как и с тем, что... В дневниках Льва Троцкого, напечатанных в журнале "Знамя", я выделил и запомнил такую запись: "Самая неожиданная вещь, которая случается с человеком, это — старость" Ну ладно, поехали дальше.

В поезде Кельн-Остенде легко пишется еще и потому, что... никто за тобой не подсматривает, не лезет со знакомством, расспросами; если заглянет искоса украдкой, тотчас потупится, встретясь глазами. Каких-либо признаков любопытства к иностранцам, как у нас (мы же в Бельгии иностранцы), здесь незаметно. Все едущие как-то углублены в самих себя, не причастны к окружению. Даже обидно: посмотрите на нас, неужто не видите, откуда нас занесло, какие мы птицы... Что-то еще сохранилось в нашем подсознании от Маяковского: "Читайте, завидуйте: я — гражданин..." К девяностому году стало очевидно, что завидовать нечему, но поразиться преподанному нами человечеству уроку... О, да!

В Западной Германии (до объединения оставалось чуть меньше года) особенно бросается в глаза, после Восточной Германии, Польши, нашего отечества: человек доволен своей работой. В служебной роли — любой — индивид ничуть не меньше сознает-выражает свою значительность, чем, скажем, премьер-министр или босс. Насколько, к примеру, важная персона (very important person) кондуктор в поезде! Проводника нет, бригадира нет, но есть кондуктор — главный человек. У кондуктора

имеется великолепный инструмент для компостирования билетов — металлический, массивный, блестящий, солидно щелкающий при пробивании дырки. К поясу кондуктора привешены кожаные ножны для компостера...

На перегоне Эссен-Кельн в вагон вошел кондуктор, напоминающий внешностью, манерой поведения канцлера Коля: высокий, массивный, седовласый, в великолепной твидовой паре стального цвета... Впрочем, не стального, помягче, но какой-то отзвук стали раздался вместе с явлением кондуктора, его стального компостера... И белизна рубашки, глубокие тона джемпера, галстука... Когда мы не поняли немецкую речь кондуктора, он заговорил по-польски, когда и это до нас не дошло, выдал отборный английский. Владение английским языком вообще предрасполагает к самоуважению, особенно при правильном выговоре. Кондуктор был явно горд тем, что — кондуктор!

Солихалл, а, точнее, Дорридж. Дорридж переходит в Солихалл, не сразу переходит, постепенно; от Солихалла рукой подать до Бирмингема. Вот оно как... Но досюда надо было еще доехать, доплыть... Все вокзалы, вокзалы. На перроне тележки, тележки. Взял тележку, не едет. Что за чертовщина? Ага! Приподнял держалку-тормоз — поехала, нужен навык. Погрузим на тележку свои манатки... сзади тебе не наступит на пятки носильщик с телегой: "Па-аберегись!.."

В Остенде, ввечеру, ближе к полночи мы ждали парома (фэрри) на Дувр... В зале ожидания висел транспарант: "До встречи на борту". Фэрри запаздывал. Из двери, куда-то ведущей, какой-то очень домашней, с медной ручкой, выглянул симпатичный пожилой мореман во флотском кителе с погончиками, по-домашнему сказал: "К сожалению (ай эм сорри), на несколько минут запаздываем, сейчас поедем, сейчас поедем"

Через несколько минут все стали на бегущую вверх дорожку-эскалатор без ступеней. Рядом с широкой дорожкой для всех, чуть повыше, вровень с несомым тобой чемоданом, побежала узенькая дорожка для багажа. Эти две дорожки принесли нас, вместе с нашими манатками, в то место, где причал незаметно переходил в палубу плавающего средства — парома. Паром назывался "Принцесса Мария-Эсмеральда"

"Принцесса" постояла еще немного и пошла, о чем можно было заключить по едва ощутимому подрагиванию пола, по урчанию где-то в глубине чрева. Заработали бары, буфеты, ресторан самообслуживания (селф-сервис) со всеми видами еды и питья: лангетами, ростбифами, картошкой-фри с кетчупом, с виски, пивом "Карлсберг", с апельсинами, бананами, яблоками, румяными, полнощекими, как девушки в ФРГ, кофе и чаем. (Любимое восклицание за утренним чаем нашей хозяйки Джин Шерман: "Э найс кап ов ти-и" — прелестная чашка чая). На всех трех палубах в салонах полуспальные кресла с покатыми спинками (поспать за плаванье от Остенде до Дувра некогда, можно погрузиться лишь в полусон), столики с пепельницами, ящики с бурчащими экранами — компьютерные игры...

Паром "Принцесса Мария-Эсмеральда" плыл в полной темноте по проливу Ла-Манш... Два обалдуя с длинными патлами играли в компьютерную игру, гогоча и прыгая вблизи того места, где пребывала наша семья. Сна не было, сжималось сердце — от невозможности стать таким, как все, на этом пароме: пойти в ресторан выпить пива "Карлсберг", закусить картошкой-фри с кетчупом; неясно было, чем встретит нас Альбион, как мы обойдемся нашей архискудной наличностью. Плывущие на "Принцессе" дети разных народов ощущали себя на равных с "Принцессой", то есть принцами, а я был нищий, как всякий советский за рубежом... Сидя в покойном кресле в салоне парома-фэрри, далеко за полночь по Гринвичу, я читал "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына, напечатанный в "Новом мире"; то, что рассказывал мне Александр Исаевич, я знал до него — каким-то подпочвенным, как вечная мерзлота, знанием. Снаружи на почве что-то произрастало, даже цвело, но стоило копнуть поглубже, — и зябла душа от вхождения в слой общего оледенения. И тут, на пароме, плывущим в зимнюю ночь по Ла-Маншу, я не мог стать седеньким, непричастным, светлоликим, с валютой в бумажнике туристом, каких можно встретить на всем земном шаре или у нас в Михайловском саду. Я оставался советским человеком, генетически печальным; местонахождение не отвлекало меня... от самого себя.

Здесь надо сделать остановку. Играет музыка в доме. Глянешь в окно, на дворе ни души. Только один дорриджский обыватель, в желтых резиновых сапогах, моет машину, как собственную персону, добела. Растут большие деревья, похожие одновременно на кипарисы и на кедры. Может быть, это криптомерии, какие, помню, видел в Японии. Или секвойи? И еще платаны, как у нас в южных городах. Музыка — может быть, Шуберт. (Как говорят англичане, мэйби). Время предобеденное, то есть предленчевое; обедают-ужинают в Англии по вечерам...

Утром мы поехали к знакомому Шерманам человеку. Впрочем, они тут в Солихалле все знают друг друга, тем более, в Дорридже. Мы приехали к нему совершенно легко, без помех и дорожных происшествий, на машине Яна Шермана, белом "Воксхолле", модели "Карлтон". Воксхолл — это район Лондона, где размещены производства американского концерна "Дженерал-Моторс", с участием Англии и ФРГ... Знакомый человек оказался моего возраста, седовласый. У него ферма и мастерская. Он вытачивает из дерева — бука, ильма — разные штуки. "Штука" — по-польски, искусство. Ну вот, знакомый человек Шерманов, живущий где-то на стыке Дорриджа и Солихалла, занят искусством и фермерством. На прилегающей к дому поляне паслись его три коровы.

Дом этого художника-фермера, основание дома — четырехсотлетнего возраста. В первом этаже под потолком — низко, надо пригибать голову, проходя под балками. Балки просмоленные, черные от смолы. Хозяин сказал, что балки из дуба. Когда-то здесь была дубовая роща. Дубы

рубили, свозили к морю, строили из них корабли. Корабли изживали свой век в морях, оказывались выброшенными на берег. Обломки кораблей увозили в Мидлэнд (Среднюю Англию еще зовут черной Англией, угольной, фабричной — блэк кантри), из них строили дома, то есть просмоленные мачты пускали на балки.

Хозяина дома, фермера, резчика по дереву, зовут Джон Поук. У него была дочь, двадцати трех лет, месяц назад умерла от рака. Незадолго до смерти она вышла замуж... Дочка Джона Поука любила кошек; после ее смерти отец с матерью сосредоточили свою приязнь на дочкиных кошках. На подворье, на ухоженном вечнозеленом дерне газонов, резвились четыре грациозных черно-белых кота.

От Джона Поука мы поехали в паб, там выпили пива, сначала с горчинкой, потом без горчинки — эля. Паб на берегу канала; канал соединяет водным путем Солихалл со Стрэтфордом на Эйвоне, простирается далее в Лондон. На берегу канала посиживали два удильщика рыбы. Джин Шерман сказала, что их сын Кристофер в детстве любил удить рыбу; приходилось сидеть его караулить: мальчишки всегда готовы что-нибудь такое выкинуть. А девчонки...

Дочка Шерманов Кэт брала уроки верховой езды вот здесь же, в Дорридже... Иногда навстречу нам попадались юноши и девушки верхом

на конях, на больших, сытых, белых с яблоками конях. Сидящий за рулем Ян Шерман отдавал им честь; наездники и наездницы отвечали ему тем же.

На стоянке у паба на асфальте крупно написано: "Кип клин". Соблюдай чистоту. На выездах с узкой дороги на широкую: "Гив вэй". Дай дорогу.

Кристофер учится в строительном институте в Ливерпуле, по воскресеньям он дома. У него есть в Дорридже подружка (герлфренд), полдня работает официанткой в пабе; потом они с Кристофером предаются радостям своей юной дружбы. У Кристофера есть в доме своя комната на втором этаже, там они проводят время с подружкой, выбирая те занятия, которые им по душе. Или куда-нибудь уносятся на маминой тачке — "Короне", кажется, итальянского производства. Подружка у Кристофера смуглая, с большими глазами и губами — мулатка. Джин сказала, что подружка Кристофера стирает ему рубашки. Пока Кристофер учился в школе в Солихалле, он тоже прирабатывал мойщиком посуды в пабе.

Кэт живет в Лондоне, учится в колледже на журналистку. Она снимает квартиру-студию с отдельным входом — вниз по лесенке, в полуподвал (мы навестили Кэт, спускались по лесенке), с окнами в нишах-амбразурах, со стеклянной дверью во внутренний двор-лужайку. Квартиру Кэт снимает на пару с подругой; платить за нее надо 35 фунтов в неделю... При наших наличных средствах, нашей семьи, мы смогли бы прожить в такой квартире пять недель... если бы питались только сельдереем, подаренным мистером Поуком... Родители доплачивают Кэт за студию-квартиру, но в основном, она зарабатывает сама; уже напечатала несколько статей. Ее специализация в журналистике — мода; она пишет на тему моды, для журналов мод.

С подругой-совладелицей квартиры-студии у Кэт бывают размолвки, поскольку мода — арена соперничества, отнюдь не совпадения вкусов.

Дом у Шерманов в Дорридже... Это обыкновенный английский семейный дом, при среднем достатке главы семьи (у Яна, как мы узнаем, повыше среднего). Даже в Лондоне 60% обывателей проживают в собственных домах... У достаточного хозяина на втором этаже спален побольше, у стесненного поменьше, тоже самое и касательно ванных-туалетных. Англичане, как мы знаем, консервативны в обычаях, привычках бытования: душ в английском семейном доме (например, в доме Шерманов) не прижился, нет смесителей горячей воды с холодной; из одного крана течет почти кипяток, из другого вода ледяная; нужная температура достигается смешиванием — в ванне или раковине; дырку заткнул затычкой, смешал и полощись. Горячую воду экономят: то пустят, то отключат; существует какое-то реле для соблюдения расхода. По моему небольшому опыту знаю: горячая вода вырубается именно в тот момент, когда ты намылился, время ополоснуться, а водичка студеная — бр-рр!

В доме Шерманов три спальных комнаты на втором этаже, две просторные ванные окнами в сад, с подогретыми полами, укрытыми

ворсистой синтетикой, с махровыми простынями на блестящих вешалках. В такую ванную (не в лоханку, а в помещение) заберешься — и полетит душа твоя в рай... Ванная есть и на первом этаже.

Первый этаж — для активной семейной жизни, для бодрствования,. что типично для англичан — быть бодрыми (но ночами, приняв ванну, крепко спать наверху). Вошел в дом с улицы — оказался в просторной прихожей-сенях-вестибюле, с деревянной лесенкой наверх, застеленной ковровой дорожкой, с дверями в гостиную и кухню. Каждый день, то есть затемно утром (зима, светает поздно) можно услышать, как падает на пол просунутая снаружи в щель почта: "Гардиан", увесистая, с приложением, и еще что-нибудь. Откроешь дверь на улицу Уоррен Драйв, за порогом, уложены на лавочке, потребные на день молочные продукты (вечером привезут цыплят, рыбу).

В гостиной есть камин, но уголь в нем не заживают; огонь от подведенного газа лижет декоративные куски антрацита. Топление каминов углем вызывало тот самый смог, которым нас пугали в отрочестве и юности: в Англии, мол, не продохнешь от смога, а у нас благодать. Топить углем не то чтобы запретили (в некоторых домах, я видел, топят), но не рекомендуют. Посреди гостиной круглый стол; можно сидеть у стола на диване или в кожаных, прохладно-покойных креслах. Сидеть и читать "Гардиан", что я делаю по утрам, до завтрака.

Чтение в этой газете — на любой вкус, любое состояние духа. В приложении к "Гардиан", отстраненном от политики, прочел, например, о том... О чем бы вы думали? Никак не догадаетесь. Целая полоса наставляет новобрачных: беременность женщины (прэгнанси) никак не помеха для сексуальных сношений, напротив, женщина предрасположена, возбуждена... И это способствует нормальному развитию плода... Познания такого рода совершенно для меня бесполезны, но чтения не бросаю, почему-то любопытно, хотя бы задним числом.

Обрисовать все предметы в гостиной дома в Средней Англии не возьмусь (не упомнил, да и бумаги не напасешься); в доме Шерманов гостиная служит и кабинетом главе семьи: стол-полка Яна в углу, с деловыми бумагами, книгами, свидетельствующими о разносторонних интересах хозяина... Из гостиной войдем в столовую, сядем за крепко стоящий семейный стол под накрахмаленной белой скатертью... Но еще не время садиться, в этом доме все точно по часам... В кухне, с электрической плитой, мраморным прилавком с встроенной никелированной раковиной, холодильником размером с мавзолей... столь много всего, что мои глаза, однажды разбежавшись, так и не остановились на чем-либо отдельно взятом. Только знаю, как сварить кофе, где хлеб, масло, сыр, ветчина (хам), а если захочу, то и банка йоркширского пива... Это когда все уходят из дома, оставляют меня одного — о! эта сладость неподотчетности, уединения, хотя бы и в чужом доме. В чужом еще и поважнее...

Из кухни можно пройти в прачечную и мастерскую, принадлежащую Джин. Так почти в каждом доме, где мы побывали: хозяйка что-нибудь мастерит; тут ее хобби, средство самоосуществления, эмансипации. У Джин Шерман в мастерской печатный станок; она печатает рождественские поздравительные открытки, визитные карточки (и мне напечатала), что-нибудь еще. В этом бизнес Джин, ее вклад в семейный бюджет.

Из дома Шерманов есть два выхода: на улицу Уоррен Драйв и в собственный садик, как у всех в Дорридже, я думаю, не более трех соток, с лужайкой, с подстриженной травой, с упругим, как мат, дерном, на котором можно прыгать, возлежать, не нанося ущерба травяному покрову, с грядками, на которых выращивают по вкусу укроп, редиску, петрушку, спаржу, брюссельскую капусту. Картошку (потэйтос) не сажают, ее покупают в торговом центре — шопинге, всегда молодую, привезенную из той части света, где картошка только что поспела.

Впрочем, ни один сад в Дорридже (очевидно, и во всей Англии) не повторяет другой, в каждом своя изюминка. После того как мы побывали в гостях у соседей Шерманов Флетчеров, я знаю, что там есть крохотный пруд, в нем плавают рыбки; окно пруда затянуто металлической позолоченной сеткой, дабы в пруд не свалились две собачонки, одинаковые, беззлобно лающие, на коротеньких лапках, с провисшими туловами, густошерстные. У пруда под ивами поставлены ажурные белые кресла — для медитаций; на постаменте горделивый бюст Роберта Бернса. Некоторая изысканность убранства в саду Флетчеров, очевидно, проистекает из вкуса хозяйки дома, прелестной (вери найс) маленькой женщины, делающей глазки, Риты Флетчер, ну и, понятно, из достатка хозяина: Барри Флетчер — бирмингемский предприниматель, глава фирмы, торгующей запасными частями к автомобилям, — "Дом моториста" ("Хоум ов моторист").

Шерманы с Флетчерами на короткой ноге, в особенности Джин и Рита, что определило и отношение Флетчеров к нам.

Наш любезный хозяин мистер Ян Шерман работает в Бирмингеме юрисконсультом в крупном промышленном концерне по производству станков с программным управлением. (Однажды Ян показал нам свой офис на окраине Бирмингема — громадина!) Ян первым поднимается в доме, выпивает свой кофе, садится в машину, уезжает к восьми на работу. Возвращается после семи вечера осунувшийся, с заострившимися скулами, брюки становятся ему как бы широковаты: видно, что человеку деньги платят не зря. Дома хозяин облачается в передник, помогает жене приготовить ужин, накрыть на стол, за столом потчует гостей, подливает вино. Вечерами он слушает музыку (вместе с Джин), любит Моцарта, Шостаковича, Прокофьева. Телевизор в доме Шерманов включают редко, может быть, из экономии или из несовпадения репертуара с запросом. Для нас включат последние известия, на экране промелькнут знакомые лица: Горбачев, Рыжков, Ельцин, Евтушенко, Сахаров, Коротич... В

английском парламенте симпатяга рыжий Киннок о чем -нибудь поспорит с железной леди Тэтчер — и вырубят. На круглый стол в гостиной подадут кофе, виски, шерри, бренди: дом наполняется музыкой, в доме не курят, сидят в глубоких креслах, предаются кайфу. Это если не назначен прием гостей, не запланированы визиты, не куплены билеты на концерт; уик-энд требует полной самоотдачи; это — семейный праздник, с демонстрацией всего, чем богаты хозяева, на что они способны...

Дом Шерманов привлекателен еще и тем, что в нем много смеются (может быть, смешливость в какой-то связи с материальным достатком; этот аспект не изучен); смеются безудержно, изнутри, без оглядки, что очень заметно на фоне нашей взвешенности, если не сказать придавленности. Свойство английского ума — вылущивать смешное из, казалось бы, ничего не значащего, просто так кем-нибудь ляпнутого. Однажды я пошел в шопинг (на улицах Дорриджа никого не повстречал; никто не ходит, все ездят). На фруктово-овощном лотке увидел превосходную черешню (черри); ее полнокровность, налитость, глянцевая бордовость прямо-таки ошеломили меня: на дворе-то декабрь. Надо сообразить, почем фунт товара, сколько фунтов-паундов надо отдать; в Англии все измеряется фунтами — и черешня (черри) и благосостояние (просперити). Я взял фунт черри, заплатил фунт (паунд) сорок пять пенсов — в Англии в канун Рождества черешня не только ласкает взор, но и кусается). Принес рождественский подарок домой, на Уоррен Драйв, 12. Джин спросила, откуда черешня. Я ответил, что, вестимо, из лавочки. Смешливая Джин залилась своим звонким английским смехом. Я не мог понять, что смешного в том, что я купил в лавочке фунт черешни. Джин объяснила, что спросила о другом: откуда? — из Израиля, Алжира, Испании? Вот вам и английский юмор, для которого наша азиатчина —неистощимый повод от души повеселиться.

Трава на лужайках зелена, там и тут цветут розы. Идешь по улице Дорриджа (ни одной бабушки на завалинке; привезут детей из школы, — улица на короткое время оживет), закуриваешь и тотчас задаешься вопросом, куда кинуть окурок: кинуть его решительно некуда; во всем Дорридже ни одного брошенного окурка. В конце концов находишь решетку люка...

Стволы у высоко в небо выросших сосен обвиты плющом...

Если высунуть нос за околицу Дорриджа, на выгонах у дороги пасутся все как одна белесоватые овцы (шип). На березах не облетели, даже не пожелтели, а только малость сморщились листья. Есть золотые плакучие ивы, дубы с желудевого цвета листвой.

Раз я увидел в окно двух прилетевших сорок, таких, как у нас, белобоких, зобастых; потрещали о чем-то, без малейших признаков английского акцента.

По каналу близ дома Джона Поука плыли два не то серых гуся, не то черных лебедя, с синеперыми шеями.

Над оградой одной из ферм возвышалась сизо-серебристая долгая шея с маленькой ушастой головкой над ней, с кротким выражением лица, какое бывает у отрока-переростка; фермер выращивал ламу.

Всюду летали голуби и чайки. На вершину ивы слетелась стая дроздов. В воздухе ровное, постоянное в одной тональности без диссонансов треньканье всяческих птиц.

Вчера я пошутил неудачно, у нас бы сошло, а в Англии не годится...

Глядя в лист с программой, составленной на все время нашего пребывания, Джин сказала, что завтра нам предстоит встреча с двадцатью одним человеком, все придут сюда, в дом Шерманов. Я не удержался, пошутил: "Все сразу или выстроятся в очередь?" Джин серьезно посмотрела на меня, сказала, что не надо быть циничным. И правда, экстраполяция нашей очереди на здешнее благорасположение друг к другу неуместна, цинична. Шерманы серьезные, глубокие, прямодушные люди.

Вечером слушали музыку — мессу.

Джин сказала, что человеку хочется быть с природой, в природе. Здесь, в Солихалле, нет настоящей природы, это суть пригород Бирмингема, но есть иллюзия (иллюжн). Можно уединиться, отрешиться, достаточно тишины... Но так же надо быть и в современном городе, это тоже естественная потребность. Одно переливается в другое, важно соблюсти гармоническую середину.

Центром вчерашнего дня, гвоздем программы стал обед. Собственно, это был ленч, но и обед тоже, после трех часов пополудни. В английских семьях воскресный обед собирает к столу всех чад и домочадцев. Кристофер приехал из Ливерпуля, а Кэт не смогла, у нее экзамен. Обед подавался изобильный: салат из помидоров и рыба, это сперва; рыба красная — лосось, пожалуй, даже и семга, по нежности, тает во рту (растаяла). Ян сказал, что рыба из Шотландии, не выращенная в пруду, пойманная в океане. Потом большой кусок запеченной свинины — ростбиф, с разнообразными гарнирами: чипсами, тыквой, горохом, с соусом. Что еще подавали, о том осталась почти неосязаемая приятность, как пойманный взгляд красотки в толпе. Обед завершился десертом: кому чай, кому кофе, шоколадный торт, специально испеченный воскресный яблочный пудинг с кремом. К обеду подавалось белое вино, к кофе бренди, ликеры etc...

Почему-то пришло на ум, что русское "сбрендить" произошло от английского "бренди": примешь бренди за воротник и что-нибудь сбрендишь...

О сладострастие еды!
О ритуальный культ обжорства!
Накрытый стол — без суеты.
Гостеприимство без притворства...

О, старой Англии уклад —
Разбор ножей, сиянье ложек...
Дымится в чашках шоколад,
Семейный пудинг непреложен...

Сегодня понедельник. Ян уехал на службу. Джин с моими девочками в Солихалл, в картинную галерею, устраивать там выставку работ художницы Эвелины Соловьевой; я один в доме на Уоррен Драйв. Сажусь в углу гостиной (у нас почему-то в ходу, даже в устах президента, подлое словечко "присаживайтесь") за конторку Яна, где его книги и бумаги. Книги больше поэтические; в свободное от службы и домашних занятий время Ян и сам пишет стихи. (Землю попашет, попишет стихи). Открываю сборник африканской поэзии, погружаюсь в английские фонемы, морфемы, из которых надо вылущить простой смысл: африканская поэзия фольклорна, о простых изначальных вещах. По-видимому, это любимая книга Яна: лежит против стула, на котором Ян сидит.

Беру словарь (англо-русский, русско-английский словари тоже у Яна на рабочем месте), предаюсь всегда почему-то успокаивающему, отвлекающему от обыденности труду перевода. Стихотворение называется "Наша красно-белая (ред-уайт) молочная корова"

Хвала! О, хвала нашей красно-белой корове!
Когда она обращает ко мне свое мычание,
у меня теплеет на душе.
Она мычит, и лес отзывается эхом. О, радость!
Я горжусь нашей красно-белой коровой,
ее доверие ко мне поднимает меня в собственных глазах.
Без нее опустеет наш крааль.
Запустение воцарится на пастбище и повсюду.
Тыквенные сосуды из-под молока заполнят мухи.
Уйдет отрада из нашего дома, когда не станет ее.
Когда она была с нами, бабушка приносила
горячие молочные лепешки, будто привет от нее.
Когда она была с нами, в тыквенных сосудах
пенилось молоко.
Ее красота вызывала у всех улыбку,
как красота набедренной повязки нашего дедушки.
Своим мычанием она говорила,
что время дойки, вымя полно молока.
Так воспитанное дитя просится на горшок.
Не было нужды привязывать ее на дойку.
Когда поливал дождь, я прятался у нее под брюхом.
Когда я был голоден, я брал в рот сосок ее вымени
и насыщался.
Она умерла, я храню ее рога и шкуру,
чтобы не забыть о ней.

При переводе я малость путался в английских временах, где паст индефинит, где презент континиус...

Доведись русскому деревенскому мальчику (или девочке) сложить гимн своей корове, он сказал бы то же, что африканский мальчик (девочка). Разве что вместо дедушкиной набедренной повязки как образец красоты выступило бы другое одеяние, скажем, тулуп.

Этого рода поэзия представляет интерес для технократического интеллигента в Англии, выше среднего достатка. Кстати, Шерманы неоднократно проводили свой отпуск (холидейз) в Африке. На будущий год приедут к нам в Россию.

Затем, по программе, предстояла встреча с читателями библиотеки городка Кенилворта, тоже входящего в ожерелье пригородов Бирмингема. Дело в том, что в кенилвортской библиотеке активно работает кружок по изучению русской литературы; в оргкомитете кружка состоит Джин Шерман. Они только что прошли "Анну Каренину" (в гостиной на конторке Джин лежит прекрасно изданная "Анна Каренина", с "Незнакомкой" Крамского на обложке).

Обсуждение романа приурочили к некалендарному появлению в Средней Англии русского писателя (у Джин все так и было запланировано). Утром сели в "Корону" Джин, мигом прикатили в Кенилворт... Здешняя библиотека похожа на библиотеку в каком-нибудь провинциальном городе, ну, скажем, в Тихвине, и выражения лиц у читателей (в основном, читательниц) те же, что у нас, чуть восторженные, взыскующие откровения за пределом обыденности. Это я говорю об общем впечатлении, разумеется, есть выбор. На встречу со мной пришли, в основном, пожилые люди, такие, как я, что понятно: будень, рабочее время. Разговор у нас пошел через посредство переводчицы Кати, моей младшей дочки, моего солнышка — так она чешет по-английски, любо-дорого.

Кенилвортцы искренно радовались каждой крупице юмора в моей речи (у меня и мысли не было их рассмешить, при моем тугодумстве), что-то улавливали, смеялись, хлопали в ладоши. Ну, например, спросили, как это нам удалось, то есть не нам, а Горбачеву, столько всего наломать, наворочать за короткое время. Я совершенно искренно ответил, что мы и сами удивляемся. Все дружно посмеялись, похлопали в ладоши. Англичан хлебом не корми, только дай им похихикать. Да они хлеба почти и не едят, пробавляются смехом.

Однако все по порядку. Вначале я прочел короткий спич по-английски:

— Позвольте мне сказать несколько слов по-английски. Я их написал по-русски, а моя дочь Катя перевела. Она тоже здесь с нами, вот она. Так что я понимаю, что вам говорю.

В этом месте спича англичане посмеялись.

— Прошу прощения за плохое произношение... (Ай эм сорри фор май прононсэйшн.)

По окончании встречи ко мне подошел кенилвортский мужик средних лет, крепкого телосложения, с блистательными без щербинки зубами (такие зубы в Англии, кажется, даже у новорожденных и ветхих старцев), похлопал меня по плечу, сказал: "Гуд инглиш!", то есть похвалил меня за мой английский. Я обрадовался похвале, быть может, не меньше, чем Лев Толстой, когда поставил последнюю точку в "Анне Карениной". Радость — мгновенное, импульсивное чувство, зачастую несоразмерное с побудившей ее причиной.

На встрече у меня спросили: если бы Анна Каренина жила в советское время, ей бы суд дал развод? Я заверил прилежных моих слушателей, что суд бы развел, но счастливой при этом Анна едва ли бы стала. Все понимающе закивали.

Одна кенилвортка истово требовала тотального запрета на автомобили: машины замучили англичан. Я ей возразил, что мы в Советском Союзе еще не наездились, нам еще хочется покататься, у нас еще заря автомобилестроения. Кенилвортцы неодобрительно зашумели: здоровье для них много выше, чем катанье на машине; и они-таки накатались.

Утром у Джин не завелась ее беленькая машина, обычно послушная. Джин сказала: "Нужна одна такая штучка" Она побежала к соседу. Сосед приехал на японском лендровере. Тут выяснилось, что Джин не знает, как поднять капот на своей "Короне" Сосед поднял капот, достал из багажника два провода с зажимами на каждом конце, присоединил клеммы аккумулятора в машине Джин к клеммам своего аккумулятора; мотор у Джин завелся. Джин сказала, что вчера вечером забыла выключить подфарники; аккумулятор за ночь сел. Мы поехали в Бирмингем, Джин не включала вентилятор, лобовое стекло запотевало, но все обошлось. Встречные, чуя неладное, подавались влево, уступали дорогу; Джин вскрикивала: "Сорри!" Никто не мог ее услышать, но все понимали по движению ее губ, кивали в ответ. Никто не матерился, как заведено у нас, когда баба за рулем да еще делает ошибки.

Я почему-то думал о постороннем, визуальное восприятие не включалось, в мозгу свербила строка: "Накину на плечи пиджак —и уеду однажды в Пенджаб..." Хождение по Бирмингему задавало ритм, нашептывало сочетания слов с подспудным смыслом:

Ушли миры. Молчат века.
Минули страсти — под сурдинку.
Недвижна времени река —
Смени пластинку!

В последний раз я был в Бирмингеме тринадцать лет тому назад, в составе писательской туристической группы...

Тут как раз случился день рождения поэтессы Нины Королевой, группа собрала средства, препоручила мне купить Нине цветы. Рано утром я

вышел из отеля, оказался в совершенно пустом, чем-то мне неизвестным пахнущем городе. Разумеется, пахло углем, угольным дымом: еще камины в Англии топили, как топят печи у нас, — для тепла. Нигде ничем не торговали, даже рынок, который я все же нашел, оказался закрытым. После выяснилось, что воскресенье — неторговый в Бирмингеме день (мы пробыли тогда в этом городе четверо суток). Я обходил квартал за кварталом, приникал к витринам с неопущенными жалюзями... В нише одной из витрин, по эту сторону стекла, стоял высокий, без признаков жизни негр в черном костюме, с закрытыми глазами. Я невольно остановился против негра, стараясь разглядеть, кто он таков, манекен или Божия тварь. Черный человек не реагировал на мое к нему любопытство. Движимый каким-то детским порывом потрогать, я протянул руку, пощекотал негра за подбородок... Негр вздрогнул, размежил веки... Я кинулся наутек...

Нине Королевой мы тогда подарили пластинку Леонида Утесова, привезенную кем-то как подарочный сувенир. Вся группа расписалась на пластинке; обозначили место дарения: Бирмингем...

По телевизору в очередной раз передавали диспут Тэтчер с Киннoком. Джин сказала, что терпеть не может Тэтчер: в Бирмингеме сколько бездомных, дети ночуют на панели; в Солихалле закрыли госпиталь; школы пустуют, потому что нет учителей, так мало им платят. Джин сказала, что она лейбористка.

Как-то у нас спросили, что значит русское слово богатырь; в английском ему нет соответствия. Рыцарь — это другое. В русско-английском словаре богатырь переводится: хиэроу; стронг ман; в обратном переводе: герой, сильный человек. Но разве же в этом дело? Разве Илья Муромец, Добрыня Никитич были просто героями, сильными мужчинами? Ведь они же сосредоточили в себе народную мечту о героизме, о силе как производном от добра. И сколько поэзии в самом этом имени: богатырь, — чего-то очень русского, от бога и от богатства...

У старших Шерманов сохраняется некое умиление перед всем русским, как они его себе представляют; от русских ждут какого-нибудь чуда, всегда, впрочем, соотнесенного с собственным интересом. Раз мы с Джин болтали о том, о сем, как у вас, как у нас; незаметно — и привычно для себя — я задудел в общепринятую у нас дуду: стал плакаться на наши недохватки, неустройства, обиды. Вот русский народ... всю страну на своем горбу тянет, а живется ему чуть не хуже всех в Советском Союзе... И все его в чем-то обвиняют, все русский виноват: и такой, и сякой, и оккупант и шовинист-империалист, и антисемит, и пьяница, и бездельник, и Сталина допустил, и себя уронил...

Джин внимательно выслушала и сказала: "Ваш народ заключает в себе большие богатства. Они еще пригодятся всем нам"

Я будто ополоснулся холодной водой, стал видеть не только вкось, но и вдаль.

Джин сказала, что в Дорридже есть две итальянки, уже семнадцать лет изучают русский язык и не продвинулись в его изучении ни на иоту. Русский язык в Дорридже совершенно не нужен, бесполезен, но упорство и постоянство в его изучении вполне самодостаточно.

Джин сказала, что по четвергам играет в теннис. У нее три подруги по теннису, одна из них подслеповата, носит очки и никак не может углядеть, где мячик, по ту сторону сетки или по эту...

Сама Джин уже двенадцать лет изучает итальянский язык.

В ее домашней типографии есть все необходимое для выпуска готовой продукции на продажу: шрифты, наборная касса, копировальный аппарат, станочек, воспроизводящий рисунок с пластика на бумаге. И еще Джин упаковывает листы ватмана — для шопинга. Это ее маленький бизнес.

Ее профессия — домохозяйка; такова основная, ведущая профессия большинства леди в Дорридже. Джин вырастила детей, теперь ведет дом, кормит, обихаживает Яна. Работа у Яна очень нервная, связанная с противостоянием интересов предпринимательства (это я говорю со слов Джин). К тому же возраст Яна предпенсионный, его место готовы занять молодые, растущие. При большой затрате сил и нервных клеток в служебное время, Ян особо нуждается в целительно милой домашности, в друге-жене. Дом в Дорридже — крепость Яна; домоправительница — абсолют преданности, нерушимости дома.

Улучив свободную минуту в череде успокоительных домашних хлопот, Ян и Джин садятся к столу в гостиной, выпивают по рюмочке шерри, что-то обсуждают...

Раз в неделю Ян ездит в Ковентри, берет там уроки русского языка. Он изучает русский язык уже три года, но, судя по всему, еще не сложил, не произнес ни одной простейшей фразы. Утром он говорит нам: "Доброе утро", вечером "Спокойной ночи" и еще знает "Спасибо". Больше ничего по-русски я от Яна не слышал. (Забегая вперед, скажу, что на будущий год в гостях у нас в Ленинграде Ян изрядно разговорится). Учительница у Яна в Ковентри полька Барбара, толстая, пожилая, незамужняя дама. Перед войной, в 1940 году, ее, трехлетнюю, с родителями увезли в Сибирь. О том времени Барбара почти ничего не запомнила. В войну ее отца взяли в армию Андерса; через Иран семья перебралась в Англию; здесь прижилась.

По-английски Барбара говорит непрестанно, как заведенная машина, с немецкой картавостью в звуке "р" По-русски говорит с простодушным, откровенным его незнанием. Открытием для нее явилось то, что сливы и сливки не одно и то же. Произнесенное кем-то слово мясорубка вызвало в ней прилив недоумения: что это такое?

Съев обильный шермановский ужин, обследовав последнюю косточку, Барбара сказала: "Я много скушала, мне трудно встать". Она просидела до половины третьего ночи, все время о чем-то говоря. Наконец уехала в Ковентри на своей маленькой машинке мышиного цвета. Она купила у моей жены офорт с цветами за 50 фунтов.

После Барбары все ушли наверх спать — разбитыми.

Сегодня вечером мы приглашены в гости к Рите и Барри Флетчер, на параллельную Уоррен Драйв улицу, в их особняк. Мы уже с ними знакомы, представлены им на приеме у наших хозяев Шерманов...

Кстати, что такое прием в английском доме?.. Шерманы принимают на широкую ногу, загодя завозят где-то взятые напрокат бокалы-фужеры, чайно-кофейные сервизы, множество бутылок с вином... Гостей наприглашена тьма-тьмущая: есть повод — гвоздь программы — русские в Дорридже, то есть мы; нас будут показывать тем, кого выбрала Джин. (На один из приемов к Шерманам пригласили всех участников встречи в библиотеке в Кенилворте).

К приему готовятся исподволь, задолго, все предусматривая-просчитывая. Наконец остается раскупорить бутылки — это работа Яна; пить будем сухое белое вино. Выстраиваются на столах бокалы-фужеры, приносятся вазы с их закусками не назовешь — так, на один зубок орешки-соломки. Джин готовит чай-кофе, укутывает чайники-кофейники салопами. Эвелина с Катей развешивают на стене офорты и литографии — вернисаж. Я слоняюсь без дела из угла в угол... Раздается первый звонок — громкие голоса в передней, наибодрые интонации. Приходят больше парами; я заметил, некоторые пары на протяжении всего вечера так и остаются отдельно от всех, довольствуются друг другом, о чем-то живо беседуют, как-будто давно не виделись. Хотя приехали в одной машине.

Мы в центре внимания — гвоздь программы, — но это вовсе не значит, что хоть кто-нибудь смотрит на нас, как баран на новые ворота, или что нас дергают расспросами. Ничуть не бывало, все идет, как заведено в Англии на приемах в частных (я думаю, и в казенных) домах, сдержанно-достойно, неторопливо, на одной ноте жужжания голосов.

Но на приеме в английском доме есть тонкость, я ее не сразу уловил: ты можешь остаться незамеченным-неприкаянным, даже будучи гвоздем программы; над предъявить себя обществу с какой-нибудь интересной ему стороны, не ждать спроса на собственную персону; будь спок, не дождешься. Все потопчутся, пригубят вино, поспикают о чем-нибудь своем и разойдутся, а ты останешься невостребованным. За тобой наблюдают, хотя и не подают вида, ждут от тебя инициативы, твоего первого шага навстречу. Зато стоит предложить себя, первым заговорить, и на тебя хлынет встречный искренний интерес. В Англии уважают активность, открытость...

Сообразив, что к чему, я обыкновенно приступал к знакомству-беседе с того, что... Вначале показывал экологический фотоальбом "Ладога. Пока не поздно", с моим текстом. Сразу находилось общеизвестное: война, блокада Ленинграда, Дорога жизни, как нынче с водой, как с рыбой, дамба в Невской губе... С этого начинали, шли, куда нам хотелось. Расставались, вполне довольные друг другом. Понятно, что обойти за вечер с альбомом всю собравшуюся в доме компанию я не мог; большую часть гостей брала на себя Катя, привлекая их внимание в маминому вернисажу...

Вино пригублялось, оставлялось недопитым. Кофе пах как надлежит пахнуть кофе; от чая припахивало бергамотом. Курящих было на всех приемах нас двое: я и миллионер Барри Флетчер...

Приемы накатывали волнами на дом Шерманов с ненарушимой цикличностью, без сбоев. По окончании каждого из приемов мы с Яном выпивали виски, все другие кому чего хотелось — в нашем тесном семейном (двухсемейном) кругу у камина.

У Флетчеров не прием — так, дружеская вечеринка-посиделка. Барри Флетчер — бирмингемский предприниматель, небольшого росточка, крепенький, чернявый, поворотливый, малость под Чарли Чаплина; Рита — молодящаяся леди-прелестница, строящая глазки, восторженно взмахивающая ручками.

И вот мы в доме Барри и Риты Флетчер (Джин нас завезла и укатила, у них с Яном сегодня билеты на концерт), нас вводят в гостиную — главный апартамент в доме: множество бархата, бронзы, блестящих поверхностей, кресел белой кожи; в каждое можно унырнуть и не всплыть. Передняя стена гостиной — зеркальное окно в зимний сад, собственно, тоже гостиную, всю остекленную, с кущами каких-то райских растений. Из зимнего сада есть вход в сад вечно летний, вечно зеленый, уже отчасти описанный мной. Повсюду звучит музыка, самая нежно-возвышенная; выше, нежнее, еще не сочинена. Музыка в доме Флетчеров всепроникающая, проливающаяся с горных высот.

Рита приносит серебряный поднос, на нем крохотные сэндвичи с лососиной, соленые орешки, печеньица. Вино тоже подается в серебряных высоких бокалах.

Пока еще нет хозяина, но вот он появился, быстро всех оглядел, куда-то убежал, прибежал, закурил. Барри сказал, что когда у него удачная сделка, то он в настроении, а когда не повезет, он нахмуривается. Сегодня у него состоялась хорошая сделка, он весел.

Барри Флетчер настроен радикально, решительно за капитализм — дома, у нас, повсюду!

Мы еще выпиваем германского божественного вина из серебряных сосудов. Барри куда-то убегает, вдруг приносит две шапки: на одной из них голова медведя в натуральную величину, на другой голова волка.

Барри надевает на мою голову медведя, на свою — волка, приносит фотоаппарат, устанавливает, заводит его таким образом, чтобы он мог снять нас двоих, медведя и волка. Вскоре после вспышки из аппарата выходит наружу готовая цветная карточка. Полежит, посохнет — и вот он я, о двух головах, моей и медвежьей, рядом со мною предприниматель Барри Флетчер, тоже о двух головах. Вот вам и волчий оскал капитализма...

Барри взбегает вверх по лестнице, застеленной малиновым ковром, приносит шапки с заячьей головой и с лисьей. Он напяливает звероморбые шапки на Катю и Эвелину, фотографирует их. Приносит суперкамеру из сверхлегкого металла, говорит, что таких камер, японских, всего три тысячи штук. Одна из трех тысяч — вот она, ему принадлежит, Барри Флетчеру, что эта камера снимает чуть ли не сама собою: выберет, что снять, самонастроится, снимет и выдаст позитив, даже не надо ни на что нажимать.

Вторя мужу (подпевая вторым голосом), Рита сообщает, что у них есть вилла на юге Франции, в Сан-Рафаэле — вери найс!

Барри увлекает нас наверх в спальню с широким супружеским ложем... Он все больше возбуждается, приходит в ажиотаж. Выгребает из шкафа множество шапок, примеряет их на наши и на свою головы. Есть у Барри колпак якобинцев, конфедератка времен Гражданской войны в Соединенных Штатах — всего полсотни головных уборов разных веков и народов, полный шапочный разбор.

Над ложем Барри и Риты прикноплены портреты великих комиков мира, с Чарли Чаплиным во главе. Комики улыбаются, корчат рожи. Барри достает из недр своего хранилища уникумов резиновое дитя, которое, если засунуть внутрь палец, умеет уморительно морщиться, плакать, что вызывает в Барри полное сочувствие. Таков мир маленьких радостей и утех бирмингемского капиталиста.

Допиваем визу вино. Барри говорит, что он бы выпил как следует, сегодня был удачный день, но в ночь ему надо садиться за руль, съездить в Италию. До моего размягченного сознания доходит, что съездить из Бирмингема в Италию все равно, что у нас... Нет, не все равно, у нас не разгонишься, столько на наших дорогах выбоин и колдобин.

Вообще, ни один англичанин, с которыми довелось сесть за стол, не выпил как следует, чтобы, например, обняться, прослезиться, вместе спеть какую-нибудь общеизвестную песню: "Путь далекий до Типперэри" или "Очи черные" Всякий раз находилась у англичанина веская причина, чтобы ему как следует не выпивать.

Прощаемся с Барри и Ритой, расцеловываемся, обещаемся увидеться еще где-нибудь в этом мире. Где-нибудь...

III

Как это ни странно, мы все еще в Англии, в Дорридже; облака на небе, зеленая трава; черные дрозды с длинными хвостами, желтыми клювами.

На днях куда-то поедем, в Озерный край (Лэйк дикстрит). Все малость нездоровы ("Гардиан" пишет о пришествии в Англию гриппа).

Утром я сказал Джин, что видел ночью ужасный сон. Джин тотчас написала на бумажке: nightmare — ночной кошмар. Это она ненавязчиво преподает мне английский язык. Спросила, что я читал на ночь. Я ответил: "Архипелаг ГУЛАГ". Джин развела руками, выговорила-сыграла на губах английскую фразу, в том смысле, что иначе и быть не могло, если читать на сон грядущий такие вещи.

Вечером был в гостях у Скоттов, Брайана и Филиды, здесь неподалеку, в Дорридже. Старички-пенсионеры. Впрочем, не знаю, платят ли пенсию домохозяйкам; Филида — домохозяйка. Надо будет спросить. Брайан был финансистом в Бирмингеме. Что значит быть финансистом, можно узнать из одноименного романа Драйзера; когда-то я его читал, даже проходил по программе филфака — и начисто забыл. Про Бирмингем Брайан сказал, что это город некрасивый, но в нем побольше возможностей, чем в других местах, для самоосуществления, хоть в бизнесе, хоть в образованности или в искусстве.

В молодости, семнадцати лет, Брайан Скотт попал на войну, воевал в Нормандии, Бельгии, дошел до Эльбы, но с советскими не встретился, поскольку воевал в артиллерии, находился чуть позади пехоты.

Ели мелко нарезанную рыбу с картошкой, под соусом, пили белое вино. Немножко попутешествовали по карте Советского Союза, очевидно, приготовленной к нашему визиту, нашли где, какие у нас нанесены уроны природе. Об этом Скотты знают из газет, телевидения, это им близко. Жена Брайана Филида показывала свои пастели, акварели, темперы: цветы в саду, еще что-нибудь красивое, писаное в натуры.

Вечер у Скоттов получился уютный. Сам Скотт привез нас на Уоррен Драйв, 12.

Джин сказала, что сегодня пятница — уик-энд... Очевидно, Ян вечером пойдет на собрание ячейки лейбористской партии...

Уик-энд — событие в каждом доме, в Англии все так его ждут; в конце недели собираются вместе близкие и родные. А на партийные собрания... мужчины ходят без жен. В мужской компании они пьют вино, курят, — и не решают как следует неотложных дел по перестройке, обновлению лейбористской партии, что назрело, в чем партия неотложно нуждается. Отсюда и ее неуспех перед лицом тэтчеризма.

Джин сказала, что лучше бы лейбористы-мужья проводили уик-энды в семейном кругу, с женами. Жены бы что-нибудь придумали, присоветовали мужьям полезное для лейбористской партии, до чего мужьям самим никогда не додуматься. О'кей!

В один из вечеров поехали в Бирмингем к Брокнерам, Джону и Дорине. Джон — ведущий дизайнер Бирмингема. Брокнеры живут на окраинной

улице, в собственном двухэтажном доме. Я на второй этаж не заглядывал, моя жена там побывала вместе с хозяйкой, Дориной, говорит, наверху шесть спален.

Нас привезли к Брокнерам Ян с Джин; сами отправились в концерт слушать мессу Россини, веселую, в духе оперетты, исполняемую на двух роялях и еще на чем-то.

Дорина Брокнер — массивная еврейская женщина с массивным бюстом и всеми другими причиндалами фигуры, с медлительным, не допускающим в себя взором. Кто-то из ее предков — выходец из России. У Джона типическая внешность преуспевающего англичанина, достаточного во всем. Впрочем, Джон тоже еврей, малоречивый, неулыбчивый, не раскрывающийся, с какой-то внутренней для себя задачей.

Гостей на уик-энде у Брокнеров немного (нас трое — уже кое-что): Вики, переводчица русского языка на Би-би-Си, приехавшая из Лондона по старой дружбе с Брокнерами, и нечто новое для меня: английская молодая пара: Элисон и Питер Грант. Оба предельно тощие; Элисон просто воробышек, нахохленный, серьезно-самостоятельный; Питер в неотросшей, но уже свалявшейся бороде, в свитерочке, вельветах — дизайнер, работает в фирме Брокнера. Элисон преподает русский язык в школе в Солихалле, уже пятнадцать лет. И что-то есть в Элисон, в этом воробышке, — в прическе, выражении глаз, в ее русском языке — такое знакомое, наше. Говорят, профессия проступает на физиономии человека; профессия Элисон — Россия; она преподает Россию в Англии. Очень похожа Элисон на Олю, учителку русского языка и литературы в тихвинской школе.

Элисон сказала, что живут они с мужем в деревне Хэсли Ноб, в сельском доме под названием "Хэйвен Коттедж", в округе Ворвик, неподалеку от Дорриджа; у них двое мальчиков, пяти и девяти лет; Питер ей помогает во всем; у него есть опыт выращивания детишек: он из многодетной семьи, оказывался в роли старшего брата-воспитателя.

Элисон сказала, что в деревне с крестьянами у них нет полного взаимопонимания, хотя они живут там уже девять лет: крестьяне на них смотрят, как на городских, временных. К тому же у них, у Элисон и Питера, две машины, что вызывает у крестьян неодобрение, в крестьянских семьях по две не держат, только по одной. Крестьянам и ездить-то особо некуда; Элисон с Питером каждый день на службу: Питеру в Бирмингем, Элисон в Солихалл.

Элисон сказала, что у них с Питером нет своего огорода, домашней скотины: трудно с этим управляться. "Я работаю в школе, все отдаю работе, мне это нравится", — сказала Элисон. Школа в Солихалле огромная — 1200 учеников и, кажется, если точно уловил цифру, 600 учителей. То есть, цифру я уловил, записал, но теперь дома она представилась избыточной, невозможной: по учителю на каждых двух

учеников — ничего себе учительский коллектив! Какую же надо иметь в школе учительскую?

Элисон сказала, что у них в деревне начальная школа, в ней учат детей от четырех до одиннадцати, потом отдают в высшую ступень, в Солихалл.

Элисон сказала, что очень любит Толстого, Пушкина, Тургенева, Чехова, а Достоевский труден...

В ее школе преподают немецкий, французский, итальянский, русский. В этом году русский учат 120 ребятишек, а на будущий год не записалось ни одного, так что будущее Элисон неясно.

По окончании уик-энда, то есть домашнего обеда-ужина с друзьями из России, в доме Брокнеров в Бирмингеме, Питер и Элисон довезли нас до Дорриджа, сдали в сохранности Яну и Джин.

В Дорридже, как во всех городках Англии, выходит своя газета — "Фокус". В Солихалле выходит солидная многостраничная газета "Солихалл Ньюсс"

Утречком к нам пришла юная стесняющаяся девушка и молодой парень с фотоаппаратом, из "Фокуса"; взяли у нас интервью, сняли в газету.

Джин сказала, что раньше в Дорридже выходили две газеты, их продавали, издатели газет тем и пробавлялись. Теперь газета не продается; ее опускают в дверные щели каждого из домов в Дорридже, раз в неделю. За напечатание заметки в газете автор сам и платит. Это, по мнению Джин, не дело: газету составляют кое-как, газетчики слишком молоды, зелены. То есть уронено качество, что для англичан огорчительно. Раньше одну из газет издавали специально для начинающих журналистов, чтобы оттачивали зубы. Журналисты сами продавали свою газету; доход зависел от качества. Теперь этого нет, все это штучки леди Тэтчер. Вот так.

Ночью снилось что-то определенно хорошее, оптимистическое, в духе соцреализма. Я сказал Джин, что видел во сне гуд найтмер — хороший ночной кошмар, Джин от души посмеялась, отметила мой успех в английском юморе.

Утром укладывали в две машины тюки с постельным бельем, ящик с бутылками всевозможных зелий, латку с нарезанным картофелем — будущие чипсы, — горные ботинки, взятые напрокат, какие-то короба, саквояжи, ридикюли, огромный букет тюльпанов — родителям Джин, ее сестре Мэри, они живут в том месте, куда мы поедем...

Не забыли ли чего? Кажется, все при нас. Тогда поехали. Катя с Эвелиной в машине Джин, мы вдвоем с Яном. Джин сразу умчалась вперед, Ян придерживался разрешенной предельной скорости 70 миль в час, это 105 километров. Но иногда разгонялся до 80 и 90. (Как бы не оштрафовали Яна, задним числом: у нас напечатают, в Англии переведут... Но до этого так же далеко, как от моего дома на канале Грибоедова, 9, до дома Шерманов на Уоррен Драйв, 12.)

Автострада на Ливерпуль была милостива к нам, с умеренным движением, с разделительной зоной отчуждения посередине, с высокой глухой оградой за кюветом: не припаркуешься по нужде, не сбегаешь в ельничек...

Где-то под Ливерпулем, в каком-то городке — не возьмусь вспомнить его название, так много проехали совершенно подобных один другому городков — свернули в какую-то улочку, припарковались к поребрику тротуара... За деревянной оградой с калиткой стоял себе кирпичный домик, в нем, оказалось, живут бабушка с дедушкой, родители Джин. В гостиной у бабушки с дедушкой горел живым огнем уголь в маленьком камине...

В укромной полости камина
Лизало пламя кирпичи,
Как на погосте, для помина,
Горенье зыбкое свечи...

Тотчас стали собирать на стол чай, ну, конечно, с молоком, к чаю испеченное бабушкой печеньице с начинкой, кекс с изюмом. И так получилось славно попить чайку с дороги у стариков. Поговорили о чем-то непричастном времени, как старость: в России холодно, снег, мороз, а здесь цветут гладиолусы в палисаднике. Ладно, если раз в зиму выпадет снег, да и то его как языком слижет...

Матушку Джин зовут так же, как мою маму, Анной. Старенькая, морщинистая, но стройная, тоненькая, на тоненьких ножках, в туфельках на высоких каблуках, с подкрашенными губами трогательно до слез бабушка Аня напомнила мне мою маму. Господи ее благослови!

Дед Джон обыкновенный, у нас тоже мог быть такой дед. Джин сказала, что папа ее большой книгочей, но теперь ослабело зрение, однако... Однако дед принес не дорогой на вид простой говорящий ящик. Воткнул вилку в розетку, нажал кнопку — и ящик заговорил человеческим голосом. В ящик оказалась вставлена кассета с той книгой, какую бы дед Джон нынче прочел, если бы видел. То есть у деда, как у всякого подслеповатого книгочея в Англии, есть ящик-подчитчик. На этот раз читал что-то из Оруэлла.

Прощаясь с родителями Джин, я сказал: "Храни вас Господь" Катя не смогла точно перевести, такого выражения нет в преподанном ей английском.

Как любят выражаться у нас в Советском Союзе, прервемся... Утро в городке Бэбингтоне. Дом на краю... Краю — чего? Зеленый дерн от порога дома до обрыва, укрепленного донизу кирпичной кладкой. Верх кладки вровень с дерном. Внизу под стенкой чернеет ровный разлив, уходящий вдаль. Вода? Нет, пожалуй, земля — чернозем, чуть осветленный примесью суглинка, подзола. Разлив не воды, а пахоты: поднята зыбь. Хозяин дома Дэвид Грэгг сказал, что здесь потэйтос — картошка. Ну ладно, хорошо.

Сейчас утро. Я в доме на краю пахоты. Между пахотой и кирпичной стенкой нет незапаханного пространства даже шириной в стопу — не под ручку пройтись, а так, самому.

Раненько утром я попытался продраться в кулисе ежевичника, вдоль беленого железного забора — ограды чьего-то поля луга. Только исцарапался, уперся в другой забор. В Англии нет стежек-дорожек для прогулок или пеших хождений из пункта А в пункт Б; прогуливаются в специально отведенных местах.

Так в Дорридже, так же и в Бэбингтоне — предместье Ливерпуля... Мы остановились в доме Мэри и Дэвида Грэггов; Мэри — сестра Джин, тоже домохозяйка, но меньше урбанизированная, чем старшая сестра, более сельская, домашняя, отзывчивая на душевные движения. Все о'кей!

Сегодня понедельник, 10 декабря. Утро — сплошной туман, молоко. В Англии различают два рода тумана: э фог — туман непроезжий, сплошной, материальный; э мист — редкий, летучий, призрачный. От лондонского миста произошла вся мистика, чертовщина.

Завтра утром поедем дальше, а там будет видно. Но как увидишь, если сплошной туман?

Сын Мэри и Дэвида Майкл уехал на автобусе в школу, к восьми. Вчера он почему-то серьезно меня посвящал в расписание автобусов... Майкл поехал в специальную школу, он... специальный мальчик с отклонениями в психике; таких мальчиков — нам Божия кара-остережение! — нынче довольно у них и у нас. Впрочем, я мало что знаю о Майкле, как и о доме Грэггов, о доме Шерманов, о Бирмингеме, Ливерпуле и всей Великобритании. И о себе самом: сколько чего из финишд — финишировало, — сколько ту стэй — остается. Ну, ладно. Едем мы, друзья, в дальние края...

IV

Озерный край (Лэйк Дистрикт). Шесть утра. Кромешные потемки. Ночь лунная была; Луна полная, круглая, в ореоле на совершенно безоблачном небе. Венера много ниже Луны...

Вечером мы наблюдали, как Луна восходила против Солнца; Солнце садилось за гору, Луна вставала из-под горы. Внизу простирался Озерный край... Мы поднялись по овечьему выпасу на вершинное плоскогорье, точнее, плоскохолмье, нам открылась уходящая во все стороны плавность возвышенностей и долин (уэлли). По склонам и по вершинам ползали овцы (шип), сами по себе белошерстные, серенькие, но мазнутые одна синей краской, другая розовой, чтобы знали чьи. Из-под ног выпорхнула куропатка.

По-английски холмы — хиллз, но в Озерном крае, Джин сказала, не хиллз, а феллз, что значит — повыше, посерьезнее, поближе к горам.

Наша изба (Ян снял ее по рекламному туристическому проспекту)... О, наша изба! Такой у нее знакомый запах, как в моей избе в деревне Нюрговичи, на Вепсской возвышенности; там тоже феллзы, тоже озерный край. Запах старого дерева, сгоревших в печи дров; запах очага...

В этой избе камин помещается в том самом месте, где некогда теплился очаг, согревал, давал пищу. Копоть на камнях оттуда, из XVI века, когда сложили из камня эту избу, этот очаг. Оттуда же и дубовые просмоленные балки. Возможно, второй этаж достроили в наше время; на втором этаже четыре спальни; внизу большая горница с камином, с кухонной выгородкой за прилавком, электрической плитой, холодильником, горячей водой (из кухни есть вход в ванную), с телевизором, эркондишеном, еще чем-нибудь таким, чему и названия нет в нашем языке. У камина стоит некое чудо-невидаль — хромированное (может быть, серебряное?) вешало для совочков, щипцов, кочережек: управляться с камином.

Камин топят (мне затоплять) дровами какой-то лиственной породы; дрова сыроваты (назавтра у входа в избу появится пластиковый куль с углем). Впрочем, Шерманы привезли с собой пачку брикетов долгогорящего вещества, по запаху пробензиненного парафина. Отщипнешь от брикета кусочек, кинешь в топку, поднесешь спичку, — долго, долго горит жадным пламенем.

Вечером после ужина долго сидели у камина; зашел разговор о духах: не может быть, чтобы в таком древнем жилище не обитали духи. Разговор полушутя, но, как всегда, англичане потребовали исчерпывающего объяснения. Джин сказала, что ни в какую загробную жизнь, в духов не верит, принимает за действительное только данную, ею переживаемую минуту — то, что она ощущает и сознает. В чем не заподозришь Джин, так это в солипсизме; она исповедует рациональный, прагматический материализм...

Но я ей все-таки возразил в том смысле, что вместе с нами продолжают быть миры нам близких, умерших людей. Это суть не загробная жизнь; люди уходят, но их духовная энергия остается. Мертвые разговаривают с нами, мы готовы им отвечать; общение душ не имеет предела; нам являются духи...

Джин без обиняков спросила, верю ли я в Бога. Я отвечал, что в Бога как надмировое существо не верю, но... Не допускающая ни в чем двойственности, Джин не дала мне договорить, заявила о своем абсолютном атеизме, неверии во что бы то ни было ирреальное. Требовательно глядя мне в глаза, Джин сказала: "Я не думала, что коммунист может верить в Бога" Ее английский ум требовал однозначности. Я сказал, что судя по всему, без божеского как соединяющего, возвышающего людей над нерешимостью их проблем человечеству не обойтись в обозримое время. У нас низвергли религию, насаждали марксизм-ленинизм как веру, но прошло семьдесят лет — и опять нужна духовная подпорка — в церкви...

Джин сказала, что в Англии храмы все более пустеют; люди разочаровываются в религии; католицизм приобретает черты диктатуры.

Джин сказала, что человеку надо искать опору в самом себе.

Джин сказала, что не может себя посвятить служению чему-либо или кому-либо вне круга той жизни, какой ей отведен. Она служит только себе и своим близким.

Горел огонь в камине. Было сколько угодно виски. На дворе была лунная ночь, вокруг простирался Озерный край, где-то между Шотландией, Уэльсом и Йоркширом, к северу от Ливерпуля.

Днем, когда мы приехали в эту долину, на берег ручья, свернув с асфальта на каменистую дорожку, Ян определил по карте место, остановился у белого дома. Вокруг не было ни души. Дом оказался незапертым. Мы вошли в него, подивились роскошеству убранства. Это мы подивились, моя семья. Ян тотчас же обнаружил несоответствие дома контракту, заключенному им с фирмой, сдающей дома в Озерном крае: в доме не нашелся камин. Кондишен, электроплита, электрический камин, сервант с фарфором, спальни наверху — все было, а камина — чтобы сидеть у живого огня, — не было. Это никуда не годилось. Мы отправились на поиски хозяина; он явился нам навстречу, приехал на японском лендровере. Указал нам искомый дом — с камином. Хозяин — фермер-овцепас и у него еще есть три дома на сдачу дачникам.

На вид хозяин был обыкновенный сельский мужик, похожий на Ивана Текляшова из моей деревни Нюрговичи, в резиновых замызганных сапогах, в камуфляжной блузе, какие носят в десантных войсках. При входе в дом мужик снял сапоги, что делает и Иван, затопил камин. В отличие от Ивана, прокурившего все зубы сигаретами "Стрела", мужик Озерного края имел великолепные зубы, как у президента Буша, и разговаривал по-английски. Правда, дикция его была такова, что мужика не поняли даже наши англичане. Ему налили полстакана виски, он выпил одним глотком, как пьет водку Иван Текляшов, утерся рукавом, еще раз показал нам президентские зубы, куда-то уехал на лендровере.

Больше встретиться с хозяином не привелось; нас предоставили самим себе — во всем Озерном крае, в это время года не заселенном приезжими.

...Из Ливерпуля в Кендал и дальше — по узенькой дорожке — все ехали в одной, Яна, машине; свою Джин оставила сыну Кристоферу (вспомним, он учится в Ливерпуле на инженера), пусть покатается мальчик, на воскресенье приедет домой. Ехали в рассеивающемся молочном тумане; все предвещало ясное небо (блю скай), солнечный день. Джин сказала, что принадлежит к феминистическому движению, что пора уравнять женщину в правах с мужчиной. Я возразил на это, что Господом Богом было назначено женщине быть женщиной, а мужчине мужчиной; уравнивать Божьи творения противно закону естества. Как противна закону природы тотальная машинизация, даже вот эта суперавтострада, на которой невозможно остановиться на мгновение, свернуть за кювет по самой крайней нужде...

Джин сказала еще, что Бог был мужчина, все создал по-мущински неправильно, совершил ошибку (мистэйк), что женщина должна выбирать себе ту судьбу, какая ей более по нутру. Женщина может ходить на службу, а мужчина сидеть дома, нянькаться с детьми, если такое кому заблагорассудиться.

Мне вспомнилась встреча в библиотеке в Кенилворте: там одна молодая леди спросила у меня, как у нас в государстве решается вопрос о правах женщин. Я ответил, что этот вопрос на повестке дня нашего Верховного Совета, наряду с другими, может быть, более неотложными, о государственном устройстве, собственности, земле...Кенилвортская леди, строго глядя на меня, сказала, что, не решив главного — женского — вопроса, нельзя решить ни один другой. Я подумал... и согласился. Если бы я не согласился, то не нашел бы понимания у кенилвортских леди, а мне хотелось понимания. Признаться, соглашаясь, я не покривил душой; скорее всего леди правы. Хотя преобладающая женская активность, будь то в семье или государстве, уверен, ни к чему хорошему не приведет.

Вчера Джин заявила:

— Завтра (туморроу) будем жить в свое удовольствие. Утром наварим вволю пориджа, будем весь день плевать в потолок.

Так и вышло (все выходит так, как задумано у Джин). Вечером мы сидели у камина, я рассказывал какие-нибудь истории из русской жизни, Джин из английской, Катя переводила; другие тоже живо участвовали в беседе: хихикали, уточняли детали, напоминали: расскажи вот про это...

Вечер незаметно перешел в ночь, безлунную, облачную, однако на дворе вдруг странно развиднелось (дверь наружу стеклянная). В полночь посреди долины на берегу ручья в Озерном крае можно было читать книгу эссе Вордсворта, купленную в Грасмере, где Вордсворт прожил лучшие годы и похоронен.

Джин сказала, что вот здесь за холмом — она держала на коленях карту (э мап) — живет ее подруга Клер — сногсшибательная (марвилэс) рыжая женщина, которую ей бы очень хотелось повидать. Карту Озерного края Джин купила вчера в городе Кендале, куда мы заехали по дороге от озера Виндермер в нашу овечью избушку.

Уведомлю моих читателей, что мы-таки перевалим через холм, но Клер не застанем дома, повидаемся с ее мужем Тэдди Блэком и взрослым сыном Кристофером; Блэки, старший и младший — фермеры-овцепасы. Но о них чуть ниже.

На дворе шесть утра по Гринвичу. Я один не сплю во всем Озерном крае; воздух здесь хороший... Как-то, помню, в селе Никольском, на Вологодчине, ко мне подошел мужик, почему-то заверил меня: "Воздух у нас хороший. Выпьешь, покуришь, а тоски нет" И здесь тоже: вчера выпил, покурил, а тоски нет.

В овечьем Озерном крае посреди холмов и долин, примыкающих к небу, можно ощутить себя гражданином Вселенной (никто не спрашивает паспорта), приобщиться к нулевому циклу мироздания, се земля, се вода, се небеса. А се — огонь, в укромной полости камина...

Сидеть у огня, видеть в стеклянную дверь то, что было вначале...

Вчера мела пурга, несла в себе острые иголочки, секла глаза. Но это было недолго, стоило перевалить горбину холмов, и опять стало тихо.

Ночью мне приснился очередной кошмар (найтмэр), то есть вещий сон, будто я взошел на трибуну на собрании в Союзе писателей, ругался матом, шумел, что меня не издавали четыре года. После мне было чрезвычайно стыдно (эшэймд), я угодил в больницу, там не мог отыскать мою палату. То есть ночью мне был предложен полный набор пакости, приехавший в моем подсознании из Питера в Озерный край — весь комплекс дурных предчувствий, имеющих каждое свой символ во сне. Заблудился, потерялся — это к худу. Впрочем, в сновидениях человек переживает вторую жизнь, сотворенную подсознанием. Вот бы изобрести энцефало... записывающее устройство — для снов! сколько бы мы о себе узнали, какое бы вышло гениальное кино!

Разнообразные впечатления последнего времени непонятным образом вдруг отлились в четверостишие:

Бывал он сроду простодушен
И особливо по утрам:
Вставая от чужих подушек,
Переживал без нужды срам.

Позволю себе короткую ретроспекцию: наше путешествие все длится, длится, длится, впечатления выпадают, всплывают, мерещатся; что когда было, не важно...

Мы ехали вдвоем с Дэвидом Грэггом, рыжебородым, солнцеликим англосаксом из Ливерпуля, на его "Форде-Скорпио", к устью реки Мёзи (на наших старых картах Мурсей)... Я не удержался, сказал ему, что все же как-то не по-людски сидеть за рулем справа, ехать по левой стороне. Дэвид согласился со мной, воскликнул: "Крейзи!", то есть безумство. Везде в Европе правостороннее движение... Однако по всему было видно, что Дэвид Грэгг ни за какие коврижки не согласиться сесть за руль слева, поехать по правой стороне, поскольку — англосакс. Маленькая Великобритания сохраняет левостороннее движение по дорогам (вся бывшая империя сохраняет) как историческую реликвию, тем самым взбадривает национальное самочувствие. Так же и на спидометре не километры и метры, а мили и ярды, и над раковинами медные краны без смесителя... "Крэйзи!"

Дэвид Грэгг ученый инженер-химик, работает в главной фирме "Унеливер" Может быть, название фирмы пишется не так, пишу на слух... В прошлом веке нашелся оборотистый англосакс по фамилии Ливер, принялся варить мыло (соуп) и пошло, и поехало. То есть, вначале появилось мыло Ливера, затем город Ливерпуль. Нынче выпадают дожди, после которых можно снимать с кровель урожай стирального порошка.

Сегодня 14 декабря 1989 года. Кажется, самый короткий день. Он еще и не занялся, потемки на дворе, а я вот пишу в моей первой английской тетрадке, то есть купленной в Англии (до того писал в советской), в Грасмере, да...

Затеплен огонь в камине... Потом у меня в деревне будет свой огонь... Почему-то все время наморщиваю лоб, припоминаю, что мне еще остается доступным, делаю инвентаризацию моих личных благ или, как любят нынче у нас говорить, льгот, приоритетов: 1) смотреть на огонь, 2) предаваться одиночеству. Не густо. Но я не гордый, я согласен...

Да, хорошо, но о чем бишь речь? Об Англии, о старой прекрасной Англии, величиной с Ладожское озеро плюс площадь его водосбора. Так многого мне хотелось отведать, испробовать в жизни. И этого тоже — доброго эля в английском пабе... Вернусь домой, меня спросят: "Что ты увидел в старой доброй Англии?" Я отвечу: "Я смотрел на огонь в камельке" Хотя и спросить у меня уже некому. Ну, ладно.

V

Вчера ехали по узенькой тропке... Тропка для машин (фор карэ) выстелена мелкими камешками, чем-то цементированными, то есть особым образом заасфальтирована...

Я вдруг вспомнил, просто пришло в голову такое простое соображение: вот я исписал за свою жизнь груду тетрадей; в них есть отдельные части, страницы, достойные последующего прочтения... после меня, по искренности тона, как отпечаток души чувствительного человека, жившего в такое-то время. Ну да! Но я в моих дневниках бывал запредельно откровенен, сообщал о себе нечто ниже дозволенного (кому сообщал? с какой целью?)...

Во всю свою историю литература как средство самопознания народа, нации или хотя бы одного слоя... порывалась выйти за предел, но что-то ее удерживало. У каждого времени есть свои ограничители дозволенности. Нынче они ослаблены, как прежде никому и не снилось. Нынче, чем ниже, тем выгодней. Наши нетерпеливцы торопят: русская классическая литература имела в виду человека только сверху до пояса, а ниже ни-ни, а там ведь тоже человек... Мы истосковались по целокупности — и с Богом, ура!

Но я-то весь с маковки до пяток (довольно продолговатая орясина) вышел из классической литературы, из XIX века. Но... Диккенсу Диккенсово... Набокову Набоково...

В моих тетрадках, если порыться, тоже найдется что-нибудь такое, пониже... Это я адресуюсь к потомкам с саморекомендацией, мало веря в успех.

Заехали к Хэйдл Эндрис... Будете в Озерном крае, загляните к ней на хуторок. Хэйдл напоит вас кофе или чаем, покажет (если пожелаете, то продаст) вам великолепные вещи из местной шерсти, ею собственноручно связанные. У Хэйдл есть большой белый кот, охотно дающий себя погладить, есть куры; Хэйдл походя поглаживает их по головкам.

Ее хуторок чуть в стороне от дороги. Ян хорошо знает повертку.

Когда мы шли в деревню Кентмер в гости к фермерам Блэкам, Клер и Тэдди... Нет, это было уже на обратном пути... Джин сказала, что осенью наступает пора охоты на лис с гончими; когда лис убивают, приносят домой, то играют праздник: все напиваются, лица делаются красными, все танцуют старинные танцы, поют народные песни, о том, как пасут овец, охотятся на лис...

В доме у Тэдди Блэка есть, на стене повешены, лисья голова и хвост. На табличке обозначено, кто убил лису и когда.

Тэдди Блэк — фермер, живет в деревне Кентмер... Я спросил у него, почему в деревне, а не наособицу, как другие фермеры, что значит деревня в Англии, в Озерном крае? Тэдди сказал, что в деревне шесть фермеров; одна на всех церковь, а больше ничего такого общего нет.

Сам Тэдди маленький, щуплый, в обыкновенном пиджаке, какие носят старые мужики у нас в селах. У него только необыкновенно большой нос — руль; это нечто британское, у наших таких рулей не бывает (небось бывают, но я не видел). Тэдди сказал, что у него примерно семьсот овец. Или семьсот пятьдесят. Пятьдесят голов туда-сюда могут пропасть, а потом найтись. Стригут овец (шип) пять раз в году. Самое трудное время для овцевода — это апрель, когда овцы ягнятся, тут уж гляди в оба. На это время нанимают работников, а так управляются вдвоем с сыном. Состриженную шерсть можно сдать сразу или хранить на ферме, но не долее ноября. В объяснения, почему так, а не эдак, Тэдди не пускался, высказал сами собой разумеющиеся вещи. Впрочем, от отвечал на мои вопросы, по ним составлял понятие обо мне, насколько я "секу" в овцеводстве. Я спросил, что знает Тэдди о России, Москве, Ленинграде, он отвечал, что слышать слышал, по телевидению показывают, но толком ничего сказать не может. Из разговора выяснилось, что в хозяйстве Тэдди Блэка есть корова, но не молочная, а для говядины (фор биф). Однако чай подавался с молоком, как всюду в Англии. Магазина в Кентмере нет (как и в моей деревне Нюрговичи), ближайшая лавочка в семи милях отсюда.

Тэдди Блэк сказал, что у него на ферме две легковушки, пикап, два трактора и еще кое-что по мелочи. Понятно, что семь миль по асфальту для него не задача. (Я плаваю в лавочку в деревню Корбеничи по озеру на надувной польской байдарке "Рекин": 10 км.)

Устройство дома Блэков, собственно, такое, как и всех английских домов в провинции: на первом этаже столовая-гостиная, кухня; на втором спальни; у Блэков их две; ванная, совмещенная с клозетом (в моей деревне я хожу на вольную волюшку; никто меня не видит); эркондишен для обогрева... Только порядка поменьше, чем в городке, скажем, Дорридже, нет той чинности, стерильной чистоты; на кухне резиновые сапоги в том самом, что приносят наши мужики на своих резиновых сапогах из стайки; тем же и пахнет. Зато множество старинных фамильных предметов, например, утюг чугунный, с полостью для горячих углей, кофемолка (или, вернее, зернодробилка) с деревянной ручкой. В сенях закудахтала курица, очевидно, снесла яйцо.

Когда мы покидали наш приют в долине у ручья между двумя грядами холмов — каменную избушку со стеклянной дверью и эркондишеном, Джин сказала, что надо все привести в тот вид, какой был при нашем поселении. Раздумывали, как поступить с горячей золой, выгребенной мною из-под камина. Я предложил высыпать ее на грунт: зола суть удобрение, не повредит грунту. Но на это не пошли: такого до нас не было. Остудили золу (сама остыла): на дворе стужа, на вершинах холмов лег снег; высыпали холодную золу в мусорный бак.

Приводя избу в первоначальный вид, мы еще раз окинули взором великое множество предметов обихода, украшений, всевозможных вещей и вещиц, назначенных к одному — благорасположению постояльцев. Сервизы столовые и чайные, с росписью в китайском духе, духовка для подогревания тарелок, электрические камины в каждом углу, ковры, пледы...

Хозяин не посчитал нужным присутствовать при нашем убытии. На обратном пути мы заглянули к нему на ферму, но его не оказалось дома. С утра овцы нашего хозяина прошли большой отарой куда-то к своим баранам.

Ян запер дверь нашей избушки, ключ оставил в двери в том положении, как он был до нас. Так мы и уехали, вздыхая, стеная от прихлынувших чувств: прелестное местечко! Пока! (Вери найс плэйс! Гуд бай!)

Тут мне приходит на память одно впечатление нашей российской действительности, иной, чем английская: я приехал в мою деревню Нюрговичи, нашел в двери моей избы выломанный запор, в избе не досчитался предметов, хотя ничего не стоящих, но жизненно важных: пилы, удочки, швабры. О! Я так любил мою швабру, фабричного производства; привез ее из Ленинграда, бывало, подметал в избе, переживал маленькую радость собственноручно наведенной чистоты, порядка...

Моя деревня Нюрговичи тоже прелестное местечко (вери найс плей), но, глядя на оставленный незапертым дом в Озерном крае, со множеством ценностей, я думаю о нашем мужике, унесшем пилу, удочку и швабру из моей избы в Нюрговичах; мужика можно вычислить... И мне жалко до слез и его, и самого себя, и всех нас бедных, разучившихся жить по совести. Англичане живут лучше нас не потому, что вкушают вкусную пищу из китайских сервизов, а потому что собственность для них свята, как природа, история, камни, доброе имя старой прекрасной Англии. Сколько мы их попрекали за это самое собственничество, сколько свое родимое попирали, взрывали, экспроприировали, перераспределяли, разворовывали. Вот, до швабры дошло... В каком месте совесть потеряли? Как ее найти, вернуть?

За одним из поворотов, за каменной оградой... Кстати, об оградах... Камни сложены с превеликим тщанием, очевидно, их складывали и в XVI веке, и ранее, и по сей день; кладка нигде не порушена; в оградах, пересекающих дороги, толково навешаны ворота с запорами, у каждых ворот особенный запор.

О каменных кладках мы тоже говорили с Тэдди Блэком. Тэдди сказал, что камни складывали для того, чтобы... освободить пастбище от камней. Ну, конечно, не только для этого, — и для другого: мы видели овец, спасающихся от секущего ветра под защитой ограды; вместе с овцами у ограды жались черные лохматые яки. Простому объяснению Тэдди Блэка: пастух собирает камни с пастбища, чтобы вольнее пастись стаду — находится вполне реальное соответствие в тексте Библии: время собирать

камни. Очищали пастбища, заодно обозначали границы выгонов, создавали закутки от ветра — материальная нужда скотопасов обретала бытийный духовный смысл, запечатленный в Книге книг.

Каменные стенки на холмах (феллэ) в Озерном крае настолько искусно выложены, исполнены заповедного смысла, что одухотворяют холмы и долины — с прозеленью травы, ржавчиной жухлых папоротников, белыми снежниками, купами рыжих лиственниц, серыми валунами овец... Ограды на холмах Озерного края видишь не в их утилитарном назначении, а будто извечную оправу, что-то значащий орнамент; если взлететь высоко, парить, по-ястребиному распластав крылья, может быть, откроется смысл кладок, целостность их рисунка... Крестьянские труды всегда исполнены высшего смысла, гармонии, даже патетики, будь то стога сена, пашня, хлебная нива, тем более, каменные изгороди на холмах...

Обозначаю день: 15 декабря 1989 года. Соседи Шерманов в Дорридже поставили елку прямо против своего дома на Уоррен Драйв. Будут ли ее наряжать, поживем-увидим.

Хотя пора ехать домой... Я как-будто состарился в старой доброй Англии, чувствую себя полностью отрешенным от текущих здешних дней, дел, забот. Все движется мимо, не задевает. Время от времени надо встряхиваться, напоминать себе: я есть... Ай эм, как говорят англичане...

Джин сказала, что будила утром Кристофера, он приехал ночью из Ливерпуля на ее, Джин, машине, которую она оставила ему, чтобы он приехал... И вот она будила сыночка, а он не встает, из принципа не хочет подчиняться материнской воле, хочет быть свободным (фри) и вообще он был упрямый мальчишка, много дрался, бывало, приходил домой с синяками.

Джин сказала, что этой ночью (тунайт) умер Сахаров, что он был выдающийся человек.

Вести из России или просто внезапные воспоминания о чем-нибудь домашнем причиняют боль, из которой нет выхода кроме как повернуть переключатель: не избавиться, не позабыть, а на время перенастроиться. Домашние думы плачевны...

Газета "Гардиан" из номера в номер на первой полосе печатает обращение "Грин пис" ко всем: Япония планирует в предстоящем 1990 году убить в Антарктике 300 китов. Встанем все как один на защиту китов, не дадим их убить! Предлагаются телефоны японского посольства, номер счета для сбора средств на защиту китов.

О событиях в СССР сообщается скупо, где-нибудь на восьмой, шестнадцатой странице, об оппозиции Горбачеву, с упоминанием лиц известных и новых. На главном месте в газете сообщения о репатриации "людей на лодках", беженцев из Вьетнама в Гонконг, — обратно во Вьетнам. В ежедневном приложении к "Гардиан" я прочел большой очерк о фермере, разводящем форель.

Джин сказала, что вчера на долгой тяжелой дороге устала, плохо спала. Ян уехал на работу тоже неотдохнувший. Работа у него нервная...

Однако вернемся на то место в нашем путешествии-приключении (Джин сказала: "эдвенчур")... На какое место? Когда на каменную ограду взлетел фазан, а за оградой мы увидели пасущуюся стаю фазанов... Еще в поездке было такое место, вечером, когда в свет фар попали два кролика (рэбитс), ушастые, серые, пушистые. Ян притормозил, кролики свалились на травяную покать, в долину...

Дорожные впечатления вспухают в котелке памяти, как пузыри в кипящем поридже (к фазанам, Бог даст, еще возвратимся). Вот, например, такое: остановились, что неизбежно в дальней дороге, тем более после большого бокала пива в Кендале... То есть остановиться мы могли только в этом месте, ни в каком другом такого блага нам не выпадало — на перегоне Кендал-Бирмингем... Заехали на огромное стойбище, нашли место в стаде машин. Вошли в стеклянную дверь, оказались в мире, искренне благорасположенном к путнику — в тепле, чистоте, благоухании колониальных товаров; туалеты бесплатные...

Да, и вот мы в дороге, в пути, на автостраде с трехполосным движением в двух направлениях, с разграничительной зоной посередке, под проливным дождем, в тумане, на скоростях за девяносто миль...

А здесь передышка. Можешь покурить, поговорить по телефону с любым городом на земном шаре. Можешь подкрепиться всем, чего пожелает твоя душа. Или, наоборот, расслабиться. В этом мире (оазисе) отдохновения за кассами высоко на стульях восседают дивные девы в белых блузках, как рождественские снегурочки. Да и время к Рождеству! Здесь очень хочется потеряться и больше отсюда не высовывать носа.

Еще очень не хотелось уезжать из избы в Озерном крае, со стеклянной дверью в Божий мир: больше в такой избе не живать. Когда я зажигал дрова и угли в камине, то думал, естественно, об огне. Горящий, дающий свет, тепло огонь в домашнем очаге обладает благодетельным даром умиротворения, умягчает душу. Не знаю, подсчитано ли в Англии число разводов в домах с камином и без; интересно бы узнать: уверен, что от горящего домашнего очага уходят крайне редко, обе половины. Не зря же англичане так держатся за камин, знают, что живой огонь не заменит его электрическое подобие, ребро батареи, синий язык газа; камин поддерживает нужный для семейного счастья (или, скажем, душевного тепла) градус.

В русских крестьянских семьях, в нашем студеном климате, в избах с печью посередке как центром мироздания, разводов-разделов в помине не было. Муж и жена — одна сатана! Домашний очаг держал крепко и нынче держит. Не только у русских...

Когда я затопляю русскую печку в моей избе, то отношусь к ней, главным образом, как к камину: смотрю на огонь. Огонь —существо

дружеское: как ты к нему, так и он к тебе, и его нельзя обмануть; домашний очаг требует душевной взаимности. Вот оно как, до чего можно додуматься, имея некоторый опыт поддержания огня в камельке.

Однако вернемся к нашим фазанам...

Утром (по пути в Озерный край) мы завтракали в Бэбингтоне в столовой у Грэггов, Мэри и Дэвида. Завтрак обыкновенный английский: бекон с яичницей, сильно, до сухости поджаренный, круто посоленный; сладкие кукурузные хлопья с молоком, поридж, сваренный на воде, с молоком же или со сливками...

... Да, и вот сидим мы у Грэггов, вкушаем очень английский завтрак, а сами такие русские. Или, может быть, советские, то есть почти уже и не русские. А какие? Я-то точно русский, вышел из лесу, в лес и уйду. Моя семья — горожане, в большей степени, чем Грэгги или Шерманы — обитатели городков, с окошком в сад, с пасущимися там фазанами, крадущимися лисами.

В садочке у Грэггов на зеленой траве (в конце декабря) пасся радужногрудый фазан. Никто не побежал за ружьем его застрелить, никто не оторвался от своей прелестной чашки (найс кап) чая, от своей поджаренной булочки. Все посмотрели на фазана, у всех полегчало на душе.

У англичан это принято: облегчать друг другу души. Мужья подают женам чашки с чаем, карамели, пудинги. В гости ходят с цветами, подарками, подливают в бокалы вина. Поднимая бокалы, провозглашают: "Чиэрз!" — ваше здоровье! Непрестанно благодарят, извиняются, спрашивают, кому чего угодно, угощают шоколадом, сладкими бомбошками, виски, шерри, пивом...

Так вот, у Грэггов...

Джин и Мэри родные сестры. Судя по всему, у Джин с Яном в семье все о'кей. У Мэри с Дэвидом вообще, кажется, блестяще (экселент), если бы не одна заковыка...

Наше знакомство с Мэри и Дэвидом началось в доме у стариков, родителей Джин и Мэри, у дедушки Джона и бабушки Анни. Мы сидели у камина, тут приехали Мэри с Дэвидом, с сыном Майклом, мальчиком не по годам напряженно-сосредоточенным, ни одной черточкой не похожим на папу и маму. Посидели, побалагурили, попили чаю с кексом и поехали — на четырех машинах: Яна, Джин, Мэри, Дэвида. Три наших семьи ехали на четырех авто, в среднем, по 1,75 члена семьи на мотор, — это подумать, сколько зазря сожгли соляра, выпустили в атмосферу двуокиси углерода!..

В доме у Грэггов мы погостевали, выпили белого вина (белым вином у нас в сельской местности называют водочку, но тут подавали, кажется, мозельвейн), со многими вкусностями семейной фирмы: маринованными, похоже, опятами — и опять поехали, теперь уже на двух моторах: мою семью повезли в Ливерпуль смотреть музей битлов, меня Дэвид повез

куда-то на природу, не то на берег залива, не то в устье реки Мези, куда приезжают на холидэйз даже из Лондона...

Мэри и Дэвид Грэгги взяли Майкла трехлетним ребенком из приюта (нам поведала Джин). Мать Майкла жива, она алкоголичка, ее лишили родительских прав. Насчет отца Майкла я не уловил. Собственно, и приюта не стало: железная леди Тэтчер упразднила в Англии дома малютки, подобные им заведения. Сирот отдают на попечение в деревни, в семьи... Своих детей Грэггам Бог не дал. Майкла взяли как обыкновенного нормального ребенка, но, подрастая, он обнаружил в себе отклонения психики, признаки дебильности, отстал в развитии. Сейчас ему 12 лет, он учится в специальной (спешэл) школе...

Позднее мы побываем на семейном ужине у Эвершедов в Лапворте по соседству с Дорриджем. Глава семьи Барри Эвершед — директор заведения, подобного тому, в каком учится Майкл, — сообщил нам о том, что... железная леди наложила лапу и на бюджет его заведения... Конечно, у Эвершедов свой дом, не хуже, чем у других, у Барри и у его жены Морин по машине; к званому обеду испечен пирог, не похожий ни на один из подаваемых в округе и во всей Англии, но, в интересах семейного бюджета, Эвершеды разводят кошек особой селекции, дымчато-серых, мосластых, длинноногих, как звезды Голливуда, с большими, продолговатыми, зеленоватыми, многозначительно помаргивающими глазами. Кошкам разрешается ходить по обеденному столу — они равноправные члены семьи, — а после, когда посуда сносится в кухню, доедать то, что осталось. Хозяева показали нам рекламные проспекты своей кошачьей фермы, адреса клиентов-кошколюбов в Австралии, Южной Америке, Штатах, Японии, Европе.

И еще они показали нам превосходно изданную книгу с картинками, для детского, а также и взрослого чтения о том, как... на дальнем острове в океане жили два овцевода, пасли овец... Как вдруг глава соседнего государства решил: "Мое!" А глава отдаленного государства Железная Леди — ее так и изобразили в железном рыцарском панцире на шарнирах — сказала: "Нет, мое!" И двинулись армады железных кораблей к далекому острову в океане, грянули залпы ракет, взлетели на воздух обломки кораблей, камни пастушеских ранчо на далеком острове... Железная Леди победила, ее победу чествовала вся нация. Следствием победы явилось обширное кладбище, с бескозырками морской пехоты на каждом кресте, а на далеком острове две кирпичные трубы от печек, все что осталось от ранчо овцепасов.

Когда мы были в гостях у Эвершедов, я все время ощущал на себе изучающий смешливый взор дочки, девушки-подростка Джессики; она впервые видела рядом с собой русского медведя, давала волю своей природной смешливости. Все же во мне, я знаю, порядочно от медведя; мои жена с дочкой более продвинутые, унифицированные в смысле

европеизма, а я, как ни крути, русский валенок, чем и самоценен. Впоследствии и это из нас уйдет — а что останется... в связи с переходом к рынку или, как говорит наш премьер, на рынок? Я встречался глазами с Джессикой, легко читал у нее в глазах, как она классифицирует меня: медведь, валенок — мне тоже становилось смешно... Хотя у нас, у русских, как мы помним из школьных уроков литературы, из Гоголя, Чехова, смех почти всегда сквозь слезы.

Это в Лапворте, потом. А пока что мы живем в доме Грэггов, в Бэбингтоне под Ливерпулем, в доме со множеством спален на втором этаже; я — в отдельной каморке с телевизором; — с пудингами, ростбифами, карамелями, шерри и виски. По утрам я вижу, как Мэри, милая добрая Мэри, сестра Джин, дочка дедушки Джона и бабушки Анни, выходит на крылечко в садик, курит и плачет. После она смеется, подливает в чашки чай с молоком. Я знаю, что смех у нее сквозь слезы, это смывает всю разницу наших положений; все мы — дети в руках у Рока; одна судьба у всех нас — смертных людей.

За завтраком Джин сказала, что им с Яном, как лейбористам, приходится туго, еще года три тому назад они резко ощущали на себе изоляцию, враждебность (а теперь немножко поотлегло). Телефонные разговоры подслушивались, подозревали в шпионаже в пользу большевиков. На прошлых выборах предупреждали: тем, кто не проголосует за консерваторов, ничего не светит в смысле карьеры, служебного восхождения. Ян в своей фирме единственный противник тэтчеризма, отсюда у него и неприятности по службе (мисфорчун). Джин сказала, что был такой консерватор Мак-Грегор, доверенное лицо железной леди Маргарет Тэтчер; это он укрощал бастующих шахтеров, проявил твердость и преуспел. О Мак-Грегоре говорили как о блестящем политике, одаренном редкими способностями человеческом существе (хьюмен бинг)... Однажды Ян был вместе с Мак-Грегори на званом обеде, вблизи разглядел звезду первой величины эпохи тэтчеризма и... пришел к выводу, что звезда — просто посредственность, серая лошадка.

VI

17 декабря 1989 года. Последний день в Дорридже. Уезжаем. Дует ветер. Несутся по небу облака, плотные. Гуд бай, Дорридж!

Вчера мы ехали из Дорриджа в Лондон. По сторонам дороги простирались зеленые холмы (грин хиллз) с пологими склонами. На лужайках паслись овцы (шип). Джин сказала, что вот здесь, в этом месте (эт хиэ) произошла главная битва времен Кромвеля. И что здесь пало множество воинов, мы едем по могилам. День выдался ветреный, ясный, являлось солнце. Если закрыть глаза, можно испытать полное ощущение лета (ту флай), настолько мягко, быстро, с горки на горку взлетал

"Воксхолл" Яна. Я думал, что, наверное, это — большая удача: вот так лететь по зеленой Англии, без малейшей заботы о завтрашнем дне, тем более о дне, текущем навстречу, сплошь состоящем из рождественских подарков (мэрри Кристмас). Но у меня внутри неотступно, как партийное поручение, напоминало о себе сердце: я износилось, я больное, на мне инфарктный рубчик. Валидол не помогал, не снимал ответственности (за сердце), нитроглицерин в тюбике столокся в муку. В благоденствии семейного уюта наших дорриджских доброхотов сердце помалкивало, в день прощанья заныло, не дозволяло отдаться счастью быстрой плавной езды по Англии в ясный день, как сущей удаче. Не возникало слиянности с удачей, будто удача досталась кому-то, не мне. Удача всегда приходит позднее того часа, когда нужна тебе позарез, ты готов ей предаться. Придет, а воспользоваться ею — не хватит сердца или чего-нибудь еще.

В Лондоне... Сижу на кухне в двухкомнатной квартире, на четырнадцатом этаже точечной многоэтажки, в муниципальном доме Вудфорт Корт, в районе Шепердсбуш, а точнее, Шепердсбуш Грин. Грин — лужайка внизу под окном, что осталось от некогда зеленевшего здесь, поросшего кустарником овечьего пастбища (шеперд — пастух; буш — кустарник). Мы квартируем в Лондоне у Ольги Ивановны Бабляк, 76-летней, полной жизненных сил русской женщины, уборщицы лондонских офисов, нынче пенсионерки.

Это — другая судьба, жизненная история — другой роман...

Однако моей Англии, то есть всего написанного мной в итоге английских посиделок, могло бы не случиться, если бы в Лондоне на Шепердсбуш Грин не жила Ольга Ивановна. Я знаю, что в последние десять лет через ее квартиру на четырнадцатом этаже прошли многие советские граждане, всегда малость нищие в чужой стране, бесповоротно забывшие, что "у советских — собственная гордость": родственники, знакомые, десятая вода на киселе. Каждый бывал приючен, обогрет Ольгой Ивановной, накормлен на кухне украинским борщом, напоен пахучим английским чаем фирмы "Эрл Грэй" и, что потрясало гостей Ольги Ивановны (сам изведал, сужу по себе), наделен денежным фунтовым довольствием, из вдовьего пенсиона. (Фунты давались с надеждой, что обернутся какой-нибудь суммой для сына Ольги Ивановны Жени, живущего в Ленинграде отнюдь не богато, как большинство; сумма не назначалась; расчет производился по душе).

Мои познания об истории Ольги Ивановны Бабляк отрывочны, зыбки, да и как могло быть иначе? ее история по ту сторону моего опыта; о подобных судьбах к нам не доходило ни грана правды. В наших разговорах с Ольгой Ивановной мы больше касались других материй.

Я знаю, что война застала Ольгу Ивановну в лесном поселке Лисино-Корпус под Ленинградом, с двухгодовалым сыном Женей: муж Логин ушел на войну и канул. Нужда в куске хлеба погнала молодую тогда

солдатку, с сынишкой, вместе со всеми, в Прибалтику; работала на ферме у латышей. И снизошло на нее там, в латышах, спасительное редкостное чудо: нашелся ее муж Логин: попал в плен, отдали латышам в хозяйство. Конечно, счастливая случайность... Но у оккупационных властей выходил бюллетень по розыску одних другими, это и помогло.

Когда в Прибалтику подкатил вал войны с востока, а впереди него облако страха: Сибирь, лагеря тем, кто остался — Бабляки с полчищами таких, как они, несчастных соплеменников, подались на запад, начались скитания по лагерям перемещенных лиц, покуда Логин не завербовался на шахты в Англию... Далее — сюжет романа, которого я не читал, восхождение русского семейства на чужбине из барака лагеря, из потемок шахты на четырнадцатый этаж дома Вудфорт Корт в Лондоне.

Году, наверное, в шестьдесят втором или шестьдесят третьем в нашем доме в Ленинграде появился молодой человек, необычной у нас внешности, манеры держаться, говорить, светлобородый, проливающий из голубых глаз целые бадьи ничем не замутненной душевной светлости, абсолютно стройно-сухопарый, высокий, в английском твидовом пиджаке, джинсах — Женя Бабляк, мой будущий сердечный приятель...

Здесь и начало моих хождений в Англию...

Женя Бабляк (все звали его Женькой) пришел к нам потому, что учился вместе с моей будущей женой в Высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной. Моя жена пригласила Женьку не только по студенческой дружбе, но и по житейской нужде: мы только что въехали в однокомнатную кооперативную квартиру, то есть не въехали, а вошли, неся в руках все наше наличное имущество. Мебели, вещей домашнего обихода, а также и средств к существованию у нас пока что не было: мы вступали в молодоженскую жизнь свободными художниками; время не очень поощряло художества, тем паче свободу. Что было, ушло на квартиру.

Помню в нашем доме на первом этаже жил тогда поэт Вася Бетаки, с многодетным семейством, а мы — на пятом. Бывало, я занимал у Васи тридцать копеек, покупал триста граммов кильки пряного посола: килька поступала тогда в торговую сеть бочками... Нынче Вася Бетаки что-то редактирует в Париже, иногда вещает по "Свободе" По прошествии семнадцати лет после его отъезда мы с ним повстречались в кафе нашего Дома писателя. Весь его вид, лицо, речи выражали одно: превосходство надо мной, над нами, неуехавшими. Он вспомнил о чем-то таком, давно мною позабытом... «Помнишь, когда меня исключали из Союза писателей, ты ко мне подошел, спросил с сожалением: "Как же ты теперь будешь жить?" Я ничего тебе не сказал, только внутренне посмеялся. Меня тогда уже ждало хорошее место в Париже... Сейчас ко мне переехала младшая дочка, я ее выдал замуж за француза, моего друга... И старшая переедет...»

Я вспомнил... Положение Васи Бетаки, исключенного из Союза, представилось мне ужасным. Я его пережил как собственное потрясение. Вася тогда посмеялся надо мной. Теперь мог я посмеяться — последним, но было не смешно.

Женька Бабляк явился к нам в шалаш, в наш рай влюбленных — мы спали тогда на полу на газете "Правда", уложенной в несколько рядов, — с большим мешком за спиной, достал из мешка столярный топор, пилу-ножовку, рубанок-фуганок, стамеску, лобзик, дрель, шлямбур-зубило, отвертку, металлические уголки, шурупы... Началось в моей жизни упоительное время пиления, строгания, пробивания дыр в стенах и потолке, обжига деревянных поверхностей, варения на газу воска со скипидаром — под руководством англичанина-золотые руки Женьки Бабляка. Впрочем, все у нас начиналось с ночной операции: мы утаскивали с соседней стройки заледеневшие сосновые доски (дело было зимой), оттаивали древесину, выявляли инструментом ее текстуру (Женька утверждал, что она похожа на музыку Вивальди). В доме пахло стружкой и скипидаром. Работа сопровождалась беседой; выше радости я не знаю, чем беседа с близким по духу человеком. Больше высказывался Женька, так много он всего передумал.

Я узнал от моего нового друга, что он работал на стройках в английской глубинке и в Лондоне, овладел строительными профессиями; окончил не то колледж, не то лицей, то есть по-нашему получил среднее образование; год прожил в Париже, тоже чему-то учился. Но главный труд его души в отрочестве и в юности состоял в том, как снова стать русским, обрести свою Родину и — что значит Россия, какая она. Дома разговаривали по-русски, за порогом дома Женька становился англичанином.

В своих рассказах Женька мало останавливался на фактах, лицах, постоянно витал в мечтах-эмпиреях. Однажды вспомнил, как вместе плыл на пароме из Дувра в Гавр с Александром Федоровичем Керенским, беседовал с ним. С почтительной любовью рассказывал о своем английском друге-наставнике Володе Ковальском, ставил Володю много выше себя во всех отношениях: лучшее в своей судьбе, то есть возвращение в Россию приписывал его благотворному воздействию.

Я узнал от Евгения Бабляка, что Володя Ковальский прошел войну от Ржева до Эльбы, закончил ее комбатом, то есть командиром батареи, с металлом наград на груди. Но у комбата случилось несовпадение мнений с политорганами... по какому-то нравственно важному поводу (Женька о фактах говорил вскользь, мало что понимал в советской системе и идеологии), над комбатом нависла угроза того же рода, что, в своей время, и над артиллеристом Солженицыным... Он сделал шаг в западном направлении, без малейшего шанса на обратный ход в обозримое время. В Лондоне Володя Ковальский овладел строительной профессией, набрал высокий разряд... Такова была Женькина версия о его лондон-

ском друге. Я воспринимал ее, как интересное сочинение. (По-английски художественное сочинение — фикшн, фикция, то есть вымысел).

«Мы с Володей работаем, — рассказывал Женька Бабляк, — монтируем подвесной потолок, а он меня экзаменует. Даст мне прочесть "Войну и мир", после спрашивает, какую идею я вынес, как понял Россию, русского человека, про Наташу Ростову, Платона Каратаева... Или купит билеты на "Лебединое озеро"

Вот как все несбыточно красиво, ну, прямо сказки Шехерезады; Володю Ковальского я даже не мог представить себе в человеческом образе, в постижимых житейских обстоятельствах: нас разделял тот самый рубеж — железный занавес, — за которым все становилось призрачным, как в мире ином.

Когда у нас наступила хрущевская оттепель, Евгений стал жадно прочитывать советскую прессу, в особенности "Известия", покупал в магазине русской книги "Коллетс" на Чэринг Кросс Роуд все, что поступало от нас. Володя Ковальский не только благословил своего юного друга, но настаивал, увещевал: "В Россию! Туда! Русскому место в России, на чужбине ему не жизнь!" Однажды Евгений сел на лондонском вокзале "Виктория" в поезд, идущий в Дувр... Родители проводили его до парома... без надежды когда-либо увидаться с единственным сыном. То есть надежда забрезжила — от хрущевских посулов, тем тягостнее было бы ее лишиться. Ведь сами, своими руками отправили сыночка на муку мученическую... Что они пережили тогда?!

Из первых советских впечатлений совсем еще юному в то время Бабляку запомнилось такое: его пригласили в Большой дом на Литейном, долго обо всем расспрашивали, вели протокол. По своей абсолютной простоте Женька спросил у дознателей: "Что вы меня допрашиваете? Ведь я сам, по собственному желанию к вам приехал". Чекисты попались ему откровенные ребята, ответили без обиняков: "Мы тебя не допрашиваем, парень. Мы с тобой беседуем. Если бы мы тебя допрашивали, у тебя бы на пиджаке ни одной пуговицы не осталось". Об этом случае Женька рассказывал с некоторым даже восхищением, так понравился ему здоровый цинизм чекистов.

На тему о том, насколько в Советском Союзе живется лучше, вольготнее, чем в Англии, Женька мог распространяться бесконечно, возносясь высоко над бытом, не видя лжи, двойственности нашего существования, засевших у нас в печенках. Он приехал в Советский Союз со здоровой английской печенью (ливер). Впрочем, можно его и понять... Доводы приводил такие: "В Англии нет ни клочка свободной земли, только частные владения. А здесь... я сяду в поезд, отъеду сколько захочу, лучше всего в северном направлении... выйду на любом полустанке, могу идти лесами куда душа пожелает, могу зажечь костер, смотреть на огонь... Мой папа, лесничий, мне говорил, что для него было божественной музыкой — слу-

шать, как ветер гудит в стволах ружья... В каждом доме меня пустят ночевать, накормят, пожалеют..." Его восхищало узнавание в русских словах еще какого-нибудь второго, сокровенного смысла. Ну, например, жалеть это значит любить. Настольной книгой ему тогда служил "Толковый словарь" Даля.

Женьке очень нравилось, что наш советский работяга плюет на своего начальника, ничуть не боится быть уволенным, ибо всегда найдет себе место; в нем, работяге, нужда. И никто не думает о копейке про черный день. "Это надо испытать на собственной шкуре, вам не понять, — объяснял Женька нашу выгоду перед теми, кто там, — как трясется англичанин за свое место, выслуживается перед хозяином, каждый день откладывает копейки..." О! Такого апологета советской системы, как русский англичанин Женька Бабляк, я больше не повстречал в своей жизни. Как-то спросил у него: "Женя, ну а все-таки, признайся, тянет тебя домой в Лондон, у тебя же есть там где жить, папа с мамой?.." Он отвечал по обыкновению с неподдельным максимализмом: "Знаешь, если бы мне предложили: выбирай — или навсегда уехать в Англию, или мы тебя посадим в тюрьму на три года, я бы лучше сел в тюрьму. Если бы посадили на пять лет, я бы подумал..."

Потом настроения Женькины переменятся, но до этого еще далеко — целая человеческая жизнь — увы! такая бесчеловечно короткая...

Если глядеть со стороны, все вроде складывалось в судьбе единственного (других я не знаю) беглеца из капиталистического ада в социалистический рай по канонам соцреалима: преимущества нашего строя брали верх над соблазном загнившего Запада несколько даже слишком явно, в любом варианте. Жилье Евгению Логиновичу Бабляку я не знаю, кто дал — комнату в коммунальной квартире, в центральном районе города, неподалеку от упомянутого Большого дома. Новый квартиросъемщик первым делом прочистил в доме дымоходы, в келье его зажегся камин, запроектированный при постройке дома, но растащенный в наше время по кирпичику, по изразцу...

Еще студентом Евгений женился на самой красивой девушке в Мухинке Милке, с маленькой головкой, как у красавиц Модильяни, с чрезвычайной длины ногами; даже было за нее страшновато: каково такой длинноногой в нашей, в общем, приземистой толпе?

Едва ли когда учился в Мухинке такой завидный жених, как англичанин Евгений: собой пригож, при манерах — и золотые руки, умница, с детской непосредственной душой, искренний в чувстве и слове... В общем, пара вышла наславу. Вскоре у Женьки и Милки Бабляков родился сын Алеша.

Ах, если бы не Женькино простодушие... Он так и не нарастил защитную оболочку; под твидовым пиджаком трепыхалось его раскрытая каждому — не знаю, как назвать ее: английская или в идеальном выборе русская — душа. Что оборотилось...

Здесь я сделаю паузу, передохну, настолько трудно, горько мне вспоминать, что сталось дальше. Как-то Евгений познакомил меня со своим новым другом, со славянской фамилией не то Светозаренко, не то Драгомыщенко. Новый Женькин друг явился откуда-то издалека, место не уточнялось. Внешне он представлял собой прообраз того, что нынче оформилось в нашем сознании как стереотип "русака": с длинной гривой русых волос, окладистой бородою, с очень русским открытым лицом, размытой до белесоватости голубизною глаз, могутный телом. Говорил новый друг, как я помню, только о возвышенном, божественном, о спасении России во Христе, о призвании русских подать миру пример великодушия и благочестия. Кажется, он знал еще петь казаческие песни, красивым баритоном; Женя ему подпевал тенором, до слез умиляясь красоте распева.

Я не знаю, как оказался новый друг в доме у Бабляков, но, бывая у них, видел, что гость не чувствует себя гостем в этом доме, а чем-то другим, занимает слишком много места на скромной жилплощади и вовсе не собирается уходить. Он любил повторять, что чувствует себя у Бабляков как дома, что — другого дома где-либо у него нет. Женя воспринимал это как комплимент, с искренней застенчивостью гостеприимного хозяина. И он вполне доверился пришельцу неизвестно откуда: беседы у камина с истинно русским божьим человеком, под дивные звуки старинных песнопений доставляли ему неподдельную радость.

По утрам Евгений Бабляк уходил из дому на службу (иногда надолго куда-нибудь уезжал, например, в Казахстан, участвовал в новостройках как архитектор и дизайнер); гость оставался с хозяйкой дома, прикованной к малолетнему Алеше. Однажды, вернувшись, Женька вдруг понял... Ему объяснили... Ну да, его выставили за дверь. При отлучении хозяина из дома, мужа, отца от его прав Светозаренко-Драгомыщенко проявил железо своего характера, прежде скрытое под смиренностью божьего человека.

Евгений Логинович Бабляк собрал в мешок свой инструмент столяра-печника-чеканщика и... погрузился в потемки большого, отсырелого, равнодушного к беде человека города, скитался по подвалам-чердакам, где такие как он его сотоварищи что-нибудь мастерили, занимались какими-нибудь художествами, по случаю и так пили водку, по-русски много о чем-нибудь разговаривали, не слыша друг друга...

О страшном финале рассказанной мною житейской истории знаю с чужих слов. Первая жена Евгения Бабляка красавица Милка погибла при так и не выясненных зловещих обстоятельствах, во внезапно вспыхнувшем пожаре, в мастерской художника-модерниста, уже известного на Западе, непризнанного у нас. Художник тоже сгорел. Странность состояла в том, что присутствовавший при пожаре Светозаренко-Драгомыщенко вышел из огня невредимым. Говорили, что он убыл за бугор, не знаю по какому мандату, там его след простыл.

Я нашел Женьку еще похудевшим, полысевшим, потраченным жизнью, но по-прежнему внутренне светлым. Ему не дала уйти на дно —преданность ремеслу, мастеровитость-талант, небоязнь работы. Он был художник Божьей милостью! Свою судьбу ковал, стоя у горна, наковальни, дорисовывал в воображении недостающую для спасения мира свою собственную красоту, воплощал ее в материале.

Евгений Логинович нашел себе новую жену (может быть, она его выглядела, не знаю); в семье родилась дочь Маша; построил кооперативную квартиру, достаточную для семью, с комнатой для Алеши. Всю мебель изготовил сам, отыскивая на чердаках и помойках причиндалы старинных петербургских гарнитуров. Особенно любил он сооружать столешницы, капитальные, хоть чечетку на них выбивай, с выявленной древесной текстурой, с заделанными заподлицо вышкуренными углами. Своими столешницами Евгений Бабляк гордился.

Долгие годы его не пускали к родителям в Лондон — просвечивали. Видимо, так ни за что и не зацепились — выпустили. Приехали к сыну в гости и папа с мамой... из Лондона. Поогляделись. И уехали к себе на Шепердсбуш Грин...

В 1976 году я в первый раз записался в туристическую группу писателей для поездки в Англию. В то же время собрался в Лондон и Женя Бабляк. Мы договорились о месте и времени встречи, необходимых мерах конспирации; мой контакт в Лондоне с чужим мог вызвать ответные меры надзирающих.

Все вышло по-нашему, мы с Женькой допоздна шлялись по Лондону из паба в паб. Я укорял Женьку: "Что ты тратишь драгоценные фунты на пиво? Мы можем пивом и дома напиться". Женька мне отвечал: "Это мой родной город. Здесь у меня есть такие дома, друзья, где меня примут с распростертыми объятиями" В Кэмбридж-пабе в то время пианист мог исполнить любой мотив мира, какой закажут, а пьющие пиво попеть. Женька заказал ему "Подмосковные вечера", мы спели, что помнили из слов, по-русски, все другие охотно подпели на своих языках.

Заглянули мы и на сеанс стриптиза (как у нас говорят, "естественно"), тогда еще не наскучившего, особенно нам, советским. Стриптизерка явно тянула время, раздевалась замедленно, украдкой поглядывая на часы, по-видимому, ей платили повременно. На ее лице прочитывалось неудовольствие от работы, маленькой зарплаты, презрение к клиенту, как на лицах наших кассирш, администраторш, продавщиц. Женька о чем-то поговорил со стриптизеркой, она в первый раз улыбнулась.

Заполночь мы малость заплутали на стритах и роудах, приведших нас в Сохо... У подъезда одного из домов трое местных мужичков о чем-то тихо спикали. Мы попросили дать нам начальное направление, как выйти, куда нам нужно. Один из мужичков, пожилой, прихрамывающий, взялся нас провести до места. Как мы ни выборматывали наши "тэнк ю", он-

таки довел нас до подъезда отеля. Я пригласил провожатого подняться в номер, выпить русской водки (рашен водка), или вынести сюда, к подъезду, но он как-то мягко, беспрекословно отказался, объяснив, что завтра рано утром ему на работу.

Я еще возвращусь к этой черте английского национального характера: не изъявить благое намерение, а совершить конкретный добрый поступок в отношении ближнего, не бросить начатое на половине, а удостовериться в желаемом результате. Ничуть не претендуя при этом на вознаграждение.

Особых волнений доставило представление меня Женькой своему старшему другу-наставнику Володе Ковальскому; из Женькиных рассказов о нем у меня не сложился сколько-нибудь реальный личностный образ; одно с другим не сопрягалось: герой войны —и непрощаемый отщепенец; патриот России — и ни малейшего позыва вернуться на родину. Я знал от Женьки, что живы мать, братья Володи, где-то в Калужской губернии (так Женька говорил, с Володиных слов: "губернии"), но он не подает им голоса, чтобы не накликать на них беду.

Мы вошли в один из домов на боковой улочке Шепердсбуш... уже не Грин, в стороне от лужайки, спустились на несколько ступеней, Женька позвонил. Нам отворил человек, довольно моложавый на вид, крепкого телосложения, с блеском или, скорее даже, с огнем в темных глазах. Он пропустил нас в полуподвал — каморку со скудным освещением; Володино жилье совмещало в себе кухню с газовой плитой, спальню, кабинет с письменным столом и мастерскую; полки заставлены книгами в старинных переплетах; на верстаке столярные, слесарные инструменты. Володя Ковальский вперил в меня свой пылающий взор, сказал: "Я в первый раз с сорок пятого года вижу настоящего советского человека" Он потрогал материю моего пальто, спросил: "Это — советская материя?" Я сказал, что польская. Володя сделал вывод: "Для меня польская все равно, что советская"

Мы выпили водки, но разговора не получилось. Володя не знал, как разговаривать со стопроцентным советским человеком, именно таковым он меня воспринял; надо мною тогда довлело идиотское фанаберическое сознание какой-то высшей правоты — государственной, исторической, нашего строя... А стало быть, и моей собственной. Не только правоты, но и вполне уже непотребного превосходства над чем-либо или кем-либо не нашим, в духе: наше дело правое, мы победили. Реактивно чуткий к оттенкам, Володя Ковальский, я думаю, уловил это мое верхоглядство — взгляд сверху на что бы то ни было — и на него, лондонского изгоя. Он жадно разглядывал, слушал, изучал меня, иногда восклицая: "О, да! О, нет!" В каморке Володи Ковальского меня не оставляло впечатление, что я пью "Московскую" (Володя дегустировал водку, спросил, советская ли она, воскликнул: "О, да!") не наяву, а опять же в мире призраков, с

каким-то знакомым литературным персонажем, может быть, человеком из подполья.

Потом мы поели борща у Ольги Ивановны; к первому моему посещению квартиры на четырнадцатом этаже в муниципальном доме Вудфорт Корт Логина Бабляка уже не было в живых... О мире старшего Бабляка могу судить только по написанным им в Лондоне акварелям — он их отправил с сыном домой, в Россию, на акварелях преобладает зеленый цвет — цвет листьев, травы, одинаковый всюду, со множеством состояний, оттенков, переливов... Я слышал о Логине Бабляке, что когда он брался за кисть, то надевал чистую белую рубашку и что он работал в Пушкинских местах, до войны, задолго до Гейченко сажал там деревья... И что он мог читать наизусть чуть не всего Пушкина, Лермонтова... Я знаю также и то, что Логин Бабляк умер до времени, от рака... В свой последний срок, сознавая его малость, хлопотал о возвращении на родину; остаться лежать в чужой земле — это было невыносимо для него... Но не успел; урну с прахом Логина привезла в Ленинград Ольга Ивановна; урну предали земле на сельском кладбище в Лисино-Корпусе...

На посиделку пришли две армянские русскоязычные старушки — все, что осталось от говорящих по-русски, прилепившихся друг к дружке, в этой округе Лондона. Помню, одна из армянских бабушек спросила у меня, как по-русски "Белая кожа березы". Я сказал, что береста. Бабушка, с каким-то непричастным выражением лица, как это бывает в старости, заметила: "От бересты у меня аллергия" Другая бабушка поправила ее: "У тебя не аллергия, а ностальгия" Володя Ковальский, он тоже был с нами, воскликнул: "О, да!"

На следующий день Женька Бабляк уезжал из Лондона в Ленинград, а я еще оставался. Мы договорились, что я возьму часть его поклажи, разумеется, неподъемной. Он дал мне три увесистых тома энциклопедического справочника начала века "Ливинг Лондон", то есть "Живой Лондон", где есть необходимые сведения о каждом из живших тогда на берегах туманного Альбиона, даже о квартировавшем в Лондоне Вольдемаре Ульянове (Женька отыскал и мне показал). "Живой Лондон" и другие фолианты, перевозимые Женькой Бабляком через границу, представляли собою подарок Володи Ковальского — России. Женька мне объяснил: Володя покупает имеющие по его понятию ценность книги и отправляет их с оказией к нам. Не кому-либо поименно, а просто — в Россию. Может быть, там пригодится.

Запрещенные тогда к провозу вещи, например, сочинения русских философов: Соловьева, Бердяева Женька перевозил, прибегая опять же к собственным приемам конспирации. От меня он их не скрывал: "Перед самым досмотром я захожу в туалет, сижу в нем, пока пойдут таможенники. Книги и все другое в полиэтиленовом мешке засовываю в толчок, закрываю крышкой. На время досмотра туалет запирают. Процедура закончится,

таможенники уйдут, я уже стою у туалета, пританцовываю, делаю вид, что мне не терпится, вхожу первым. Конечно, есть риск попасться, но пока проносило" Теперь можно раскрыть Женькины секреты: Бердяева с Соловьевым продают у нас на каждом углу... Воздадим должное расчетливому на английский манер, но по-российски легкомысленному риску конспиратора; сообразим, что ставилось на весы: если бы он хоть раз попался, его бы больше не пустили в Лондон, и в отечестве небо стало бы ему в овчинку...

Через десять лет после первого посещения я опять приехал в Англию с туристической группой. В таких поездках сразу выявляется, кто с кем может быть или не может, ну да, психологическая совместимость. В этот раз я близко сошелся с писателем Вячеславом Кондратьевым, в прошлом фронтовиком, не состарившимся, телесно и внутренне крупным, угловатым, абсолютно неуклончивым — в образе поведения и суждениях, с зычным мужским голосом, внятной дикцией, правильной русской речью, разнообразным жизненным опытом, завидной памятью, собственным углом понимания явлений, то есть сильным умом. Ну, разумеется, пьющим, курящим, ничуть не берегущим себя. Собственно, все перечисленные качества составляют то, что Лев Николаевич Толстой называл: настоящий мужик. Еще и талантливый, возлюбленный мной до личного знакомства, по его повести "Сашка" Я позвонил Ольге Ивановне, спросил у нее разрешения придти с товарищем, воевавшим; может быть, Володе будет с ним интересно повспоминать о войне. Ольга Ивановна, со щепетильной непосредственностью подданной английской королевы, осведомилась не из КГБ ли мой товарищ. Я заверил, что нет, и нас с товарищем пригласили на традиционный борщ. Не как у нас: "Здравствуйте! это мы, ставьте поллитру", — а нам назначили время борща.

Оказалось, что Слава Кондратьев и Володя Ковальский побывали в передряге под Ржевом, даже в одной дивизии. Впервые при мне Володя разговорился. Я узнал от него, что его отец погиб в коллективизацию, сам он беспризорничал, сидел в колонии. "Я был антисоветчиком", — заверил нас Володя, как-будто мы его подозревали в чем-то противоположном. Вспоминая о войне, он гнул свою линию, доказывал нам, что вариантов у него не было, только этот, лондонский в итоге. Например, такой сюжет. Где-то в сорок третьем году над расположением Володиной части появился немецкий разведчик — рама". По "раме" лупили из автоматов, ручных пулеметов, пистолетов. "Рама"-таки задымила и рухнула. За сбитый самолет сбившему полагалась награда. Политотдельцы предложили Володе как старшему по званию из свидетелей письменно подтвердить, что сбил "раму" такой-то. "А я не видел, — уперся Володя, — я сидел в блиндаже. И отказался писать. На меня они стали косо смотреть. И потом под меня копали" Казалось бы, чего проще: ведь требовалось показание на награду, не на расстрел, но Володина натура не приняла насилия.

Рассказанный сюжет Володя представлял как подвижку к последнему фатальному шагу.

О шаге рассказывал примерно так: "У меня не было другого выхода. Они бы со мной все равно расправились. Я был антисоветчиком, говорил то, что думал. О, да! Ушел и сдался американцам. Они недолго меня подержали, без конвоя, посадили в джип, повезли сдавать нашим. Это меня не устраивало. О, нет! Дорога забита, ехали медленно. Остановились в лесу, я и драпанул. Погони за мной не было. Ну, а там в лесу поляки... Приняли меня как своего, дали во что переодеться. Ну, а дальше... О, да!"

"Только не вздумай возвращаться в Советский Союз, — наставлял московский ветеран войны лондонского ветерана. — У нас не жизнь, а сплошной кислотный дождь. Вот посмотри на Глеба, — он указал на меня, — ему чуть за пятьдесят, он в сравнении с тобой старик; тебе за семьдесят, а ты как огурчик. Что значит доброкачественная еда и когда на тебя не давят"

"О, да!" — не то согласился, не то задумался Володя Ковальский.

Я спросил у него, не скучает ли он все же по родине, по родным. Он ответил: «Нет, не скучаю. Это прошло. Но у меня есть постоянная тоска. Я с ней ничего не могу поделать. Вот только книги. Но сейчас в Лондоне не купишь настоящую вещь, все расхватали американцы. Магазин "Коллетс" подожгли за то, что в нем продавали книгу Рушди "Сатанинские стихи", после пожара там ничего нет...»

К той поре стоящую на столе бутылку виски мы уже опорожнили, Слава Кондратьев своим зычным голосом потребовал: "Давай еще шнапсу!" Было уже поздно, магазины в Лондоне, как и повсюду, закрыты, но Володя куда-то сходил и принес. Нам стало утешно.

Когда Володя ушел за выпивкой, Ольга Ивановна поделилась с нами Володиной и своей бедой: "Когда он не пьет, то золотой человек, но у него бывают запои, ему не остановиться. За ним надо ухаживать, как за больным ребенком. Он бы погиб, если бы не я..."

Ковальский — такую фамилию Володя сам для себя придумал.

О безысходной иррациональной тоске русского человека на чужбине я знаю книгу моего любимого писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова "Чижикова Лавра". В двадцатом году матроса Ивана Соколова вместе с командой русского парохода интернировали в Англии; извелся, пока не вернулся в Россию. Бывают русские — приживаются в чужих странах, и то большей частью вынужденно. Тут нечто непереступаемое, генетическое, по теории Льва Николаевича Гумилева, определяющий признак этноса. И живут, а не могут.

В последние годы — и в предпоследние, долго, — Евгений Логинович Бабляк преподавал художественную обработку металлов в своей альма-

матер, училище имени Мухиной. Студенты, я знаю, любили, может быть, боготворили своего учителя, каких не бывало ни до него и после не будет, — за его абсолютный, неведомый нам демократизм в отношении старшего к младшим, за невозвышение себя над кем бы то ни было. Уважение к учителю выковывалось у горна и наковальни, когда ученики видели, как под рукою мастера рождается настоящая вещь. И, конечно, за задушевные философические беседы, в которых Евгений Логинович всегда был горазд, в своей зрелости обрел не подавляющую, всем открытую мудрость. И — ангельская Женькина искренность-простота-доброта.

И еще любимым детищем Евгения Бабляка была его мастерская, он ее таки выбил — в подвале нежилого дома на Аптекарском острове, с камином, горном, наковальней, всем другим, необходимым для осуществления идеала свободы-воли, то есть счастья как понимал его кузнец. У себя в мастерской Женька Бабляк жил, как ему хотелось, наваривал большую кастрюлю супа с мозговой костью — для всех приходящих. И для чего-то выучился отменно наяривать на балалайке; всякий раз кульминацией нашей с ним посиделки служил балалаечный перепляс; Женька выдавал его с отчаянной лихостью, с припевками, каковых тоже изрядно поднабрался.

В это время Евгений Логинович выполнял свой последний (не знал, что последний) проект — интерьер художественного музея в Самаре. Он мне показывал бронзовые лепестки для будущего светильника, орнамент лестницы, эскиз люстры... Все как бы происходило из вкуса губернского дворянского собрания прошлого века, но было и единственным, штучным, современным, только что родившимся в руках у мастера.

Я слышал, что дипломные проекты у Бабляка отличались неординарностью, свободой фантазии и обязательно строгостью вкуса, совершенством исполнения.

Через подвал Бабляка текли потоки разнообразных личностей, компаний. Не различая, что от души, что от лукавого, хозяин подвала предавался каждому гостю со всей неуемностью своей не обросшей с годами защитной оболочкой натуры. Изящно сухопарый смолоду, он сделался к своим пятидесяти изможденным, как изработавшийся одер. Но я ни разу не слышал от него жалобу на нездоровье, не заставал в меланхолии; от него по-прежнему исходил свет. И над ним всегда витало облако опасности; бывало тревожно за этого человека, живущего нараспашку, вразнос, без средств самосохранения в этом яростном — да! — но отнюдь не прекрасном мире.

В один из хмурых предвесенних дней мне позвонил Женькин сосед по подвалу, тоже подвальный мужичок с медленно осуществляющимися художественными задатками, сказал загробным голосом: "Ты знаешь, умер Женька Бабляк?.." Он умер от безобразно запущенной язвы двенадцатиперстной кишки, может быть, изболевшей во что-то другое. Его взяли на

операционный стол по жизненным показаниям, то есть когда ничего другого не оставалось. Вэрезали, зашили, он вскоре умер.

Его похоронили на сельском кладбище в Лисино-Корпусе, в том месте, где он родился, вместе с отцом. Отпевали раба Божия Евгения в маленькой церкви при дороге. Мне запомнился батюшка, с простым крестьянским лицом, носом картофелиной, как он отнесся к службе по-домашнему, будто принимал гостей у себя в избе, каждому посмотрел в глаза добрым сострадательным взором. На кладбище явилось множество народу, в основном, молодняк, студиозы. На могилу водрузили крест, изготовленный лучшими руками в мастерских училища.

Ольга Ивановна приехала только летом, ее свозили на могилу. После они пришли к нам всей семьей: жена Ирина, дочь Маша, бабушка Ольга — Бабляки... Ольга Ивановна курила тонкие английские сигареты, обволакивалась дымом, собирала морщинки у глаз — не плакала, говорила, что теперь у нее на попечении последнее дитя — Володя в Лондоне; он после Жениной смерти стал как бы не в себе. "Он очень замкнутый, — сказала Ольга Ивановна, — только с Женей мог поделиться, когда тот приезжал, а теперь стал пить, вот какое горе"

Когда я написал все, что упомнил о моем друге Евгении Бабляке, то подумал... То есть я знал, что это не тот Бабляк, каким он представал перед другими людьми, перед самим собой, а только бледный оттиск моего собственного воображения. И я дал прочесть вдове Евгения Логиновича Ирине...

— Вообще-то спасибо, — сказала Ирина, — что про Женьку вспомнил, но он, знаешь, не только был Женька, не только на балалаечке играл, но и очень умел себя поставить... Евгением Логиновичем, умел держать дистанцию... И мне показалось, что ты как-то его принижаешь, что он у тебя все больше с молотком, с мастерком... А он же работал над сложнейшими проектами и постоянно задавался философскими вопросами, и студентов своих втягивал в сложные диспуты... Он у тебя получается каким-то несчастным, а это не так, ему всегда давали отличные заказы, он всегда на виду, к нем относились с интересом как приехавшему из Англии... И еще неизвестно, как у них вышло с его первой женой Милкой, там у них сразу отношения не сложились, Женя, может быть, первым от нее ушел... И я сомневаюсь, чтобы он какие-то книги от таможенников в уборной прятал. Может быть, это он тебе просто так рассказал, он был мастер рассказывать. Если он что перевозил через границу, то никогда не рисковал. Разве что томик Бердяева в карман клал — как повезет...

Из комментария Ирины к моему портрету ее покойного мужа вырисовывался совершенно другой Евгений Бабляк, нежели тот, какого я знал... И я оставил в моем портрете все как было написано, как я запомнил...

В декабре 1989 года сижу на кухне в квартире Ольги Ивановны Бабляк, на Шепердсбуш Грин. У Володи запой, он только и сказал мне:

"Голова моя пуста", отгреб в свою каморку, не показывается. Ольга Ивановна сказала: стесняется.

Хозяйка ушла купить немецкой ветчины — хама; немецкий хам хотя и подороже, но это — нежный вкусный хам; английский хам солоноват — оттенки, совершенно нами не улавливаемые.

На дворе мокро, туманно, поливает дождь (рэйн), как у нас в Ленинграде в октябре.

VII

Однако еще раз вернемся... к нашим фазанам в Бэбингтоне. Может быть, Бэбингтон от бэби?

Близко в памяти у меня, как во всецело некурящей, телесно и духовно здоровой провинциальной Англии генетически благополучная Мэри Грэгг по утрам выходит на заднее крылечко, ведущее в садик, курит в одиночку. И так быстро у нее проливаются из глаз слезы. Мэри плачет... Потом садится за пианино, наигрывает старинные английские мотивы в духе "кантри" Никакого рока, попа в этом доме, как и в других подобных ему домах, не ночевало. Хотя близлежащий Ливерпуль — родина битлов...

Вечером Дэвид Грэгг выволок из своей домашней обсерватории на улицу телескоп. У него два телескопа, один медный старинный, с длинной трубой, другой современный американский. Дэвид сказал, что купил медный телескоп в шопе редкостей, в 1964 году, за десять фунтов. Между тем вся оптика в нем вери велл, через нее Луну хорошо видно. Тут же Дэвид пошутил, что если не видно Луны, и-за тумана, то можно увидеть обнаженных леди в госпитале (хоспитэл) на той стороне реки.

Было туманно, летели облака. Дэвид выволок наружу американский телескоп, с супероптикой, весящий не менее трех пудов, направил его на Луну. Моя жена смотрела первой, со свойственной ей впечатлительностью вскрикнула захолонувшим голосом: "Ой, вижу! Вот она Луна!" Я глядел, вначале не было ничего, но вдруг прорвало, стало видно Луну как пористую известняковую поверхность какого-то другого берега. Дэвид направил жерло телескопа не вверх, а под острым углом к ровности лужайки, сказал, прошу вас, можно увидеть обнаженных леди в госпитале. В окуляре, правда, что-то замельтешило, может быть, леди. Но почему же обнаженные? спать еще рано, к тому же спят под одеялами, скорее всего, в пижамах. Если на осмотре у лечащего врача, то максимум одна леди... Дэвид предупредил, что леди могут быть увидены в оптику телескопа в перевернутом виде, вверх ногами. Тут больше было розыгрыша, английского юмора, миста — тумана, чем астрономии. Но телескоп был вполне реален, по-американски совершенен, весил не менее трех русских пудов. Столько весит хобби Дэвида Грэгга; в телескоп он наблюдает небесные светила, делает какие-то свои выводы.

В быстрой, летучей, улыбчивой своей манере Дэвид показал нам снятый им видеофильм, о том, как всей семьей Грэгги и всей семьей Шерманы куда-то ходили в горы.

Все ушли в город, я один в лондонской квартире, передо мной на полках книги — часть библиотеки Володи Ковальского; в многотомной Британской энциклопедии (Володя знает английский; Ольга Ивановна говорит на русский манер, без какой-либо английской артикуляции) нахожу многочисленные пометки ее усердного читателя; еще от Жени Бабляка знаю, что Володя погружен в лингвистические изыскания: найти славянские корни в англосаксонских словообразованиях. Он совершенно убежден в приоритете славянизмов, руководствуется в своем труде энтузиазмом патриота — восстановить истину.

В библиотеке Володи Ковальского сочинения русских философов, не издававшиеся у нас; видно, что хорошо проштудирован Николай Бердяев. Достаю с полки труд Артура Шопенгауэра "Афоризмы житейской мудрости", изданный в Санкт-Петербурге в начале века, нахожу в нем созвучное собственным умозаключениям: "Человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его "я". В одиночестве ничтожный человек чувствует свою ничтожность, великий ум — свое величие, словом, каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Чем совершеннее создан природой человек, тем неизбежнее, тем полнее он одинок...

Будем откровенны: как бы тесно ни связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренно человек желает добра лишь самому себе да разве еще своим детям"

Чувствуете, какой благозвучный, по-русски нюансированный перевод?!

За окном в Лондоне ясно-осенний день. На моем сердечном барометре стрелка чуть подалась в сторону "ясно" Не ясно, но переменно. На лондонском небе заголубело (блю скай), нет ни пряди тумана. Над Шепердсбуш Грин летят чайки: Лондон — город морской. На лужайке выстроили преогромный балаган для карусели, покружатся на Рождество (Кристмас).

Я смотрю на Шепердсбуш Грин с четырнадцатого этажа. Звуки доносятся снизу такие же, как в нашем городе, всюду. Черепичные островерхие крыши старых строений — одинаковые, вровень: жилой фонд не очень имущих, но достаточных для домовладения жителей Лондона.

Скоро, скоро завертится рождественская карусель. Может быть, может быть, может быть. Мэйби, мэйби, мэйби...

VIII

Можно бы поставить точку... но есть еще кое-что в карманной книжке. Вот, например:

В краю Озерном налегке,
Невпрок, приватно, без прописки

Истомно спал на чердаке,
Напившись у камина виски.
Зима стучалась впопыхах
В окно, звенящее как льдинка,
Труба звучала в облаках...
В трубе свербящая сурдинка.

Я вернулся домой, вдыхаю нашу знобящую сырость, переживаю, может быть, нечто подобное тому, что пережил когда-то приехавший из Англии мой друг Женя Бабляк, — свободу, волю: куда угодно пойти, поехать, с любым заговорить на понятном ему и мне языке, зайти в торговую точку, скорее всего, ничего не купить, но сознавать, что если было бы, то купил бы. То есть испытывать вполне телячий восторг от возвращения в родимое стойло.

Но во мне, со мною, на мне (купленные на распродаже в Шепердсбуш куртка и кепка) — Великобритания (Грэйт Бритэн): лица, встречи, сцены, картинки...

В Ливерпуле мы вдруг оказались на приеме у Жоселины. О, Жоселина! В ее жилище горел огонь в камине, передняя стена представляла собой зеркальное окно, за окном парк со смуглоствольными платанами, дубами, кленами, ручей, зеленая лужайка с пасущимся на ней гнедым конем. Жоселина — высокая девушка, в джинсах, свободной блузе, остроносых сапожках, с темными прямыми волосами, напущенными на лоб, как у моей жены, зелеными глазами — героиня ковбойского фильма. О, Жоселина! Хозяйка дома приносила одну за другой бутылки с шампанским. Бутылки выстреливали, вино шипело. Закусывали крохотными сэндвичами, от которых во рту оставалось благоухание. О, Жоселина!

На приеме был среднего возраста профессор, с мягким, вдумчивым выражением лица, по имени Питер, похожий на такого же нашего профессора гуманитарных наук. На интеллигентном русском языке он сказал, что его предмет — классическая русская литература, что он преподавал русскую литературу на славянской кафедре в Ливерпульском университете. Но железная леди Тэтчер сочла излишней роскошью данный предмет, преподавание его — нецелесообразным. Леди Тэтчер приехала в Ливерпуль, после чего кафедру закрыли. "Теперь я преподаю французскую литературу", — сказал профессор русской литературы Питер, мягко улыбнулся, пригубил шампанское.

Жоселина сказала, что приехала из Австралии в Ливерпульский университет, чтобы написать и защитить диссертацию по социологии, получить соответствующую (может быть, бакалаврскую) ученую степень, что это — университетский дом, аспирантская квартира. В ее рабочем кабинете персональный, Жоселине принадлежащий компьютер; Жоселина мне

показала, как с помощью клавиш воспроизводятся на экране приходящие ей в голову мысли, как правятся фразы — отливаются в пристойную науке форму, — тут же отпечатываются, превращаются в страницы диссертации. Жоселина сказала, что осталось дописать последнюю главу, защититься и гуд бай, Ливерпуль! домой в Австралию.

Хозяйка всех пригласила из гостиной в столовую. Я заметил, что стены столовой в аспирантской квартире австралийской красавицы, звезды ковбойского фильма Жоселины, представляют собой ячейки, из каждой выглядывала бутылочная головка — шампанского или другого вина. В ходе нашего застолья бутылки извлекались из ячеек, подавались на стол, но большая часть запаса так и осталась невыпитой, что совершенно невозможно у нас в Отечестве.

Для русских гостей Жоселиной был специально сварен гороховый суп, употребляемый и в Австралии. Жоселина сказала, что когда защитит диссертацию, вернется домой, то купит ранчо в австралийской саванне, будет скакать на конях и писать романы с любовным сюжетом.

Я чистосердечно открыл Жоселине, что и мой идеал тот же, что у меня давно куплено ранчо на севере в русской тайге, что я сколько угодно скачу на конях моего воображения. На прощание мы с Жоселиной долго смотрели в глаза друг другу. Жоселина воскликнула: "О, Глеб!" Я воскликнул: "О, Жоселина!"

Ковбойский фильм закончился, наступило затемнение. О, Жоселина!

Однажды за нами в Дорридж заехала Элисон Грант — помните? воробышек, или скорее, скворчонок, преподаватель русского языка в школе Солихалла. И повезла нас к себе в деревню Хэсли Ноб, в округе Ворвик. Ее с мужем Питером деревенский дом примерно такой же, как другие английские дома. В семье Грантов два лопоухих пацана, их, в основном, воспитывает Питер.

Элисон сказала, что, как заведено у русских, надо выпить водки, она научилась пить водку. Принесла литровую бутылку "Смирновской", препоручила мне всем налить в большие рюмки; пригубили и больше не прикоснулись. Бутылка осталась невыпитой.

В гостях у Элисон вместе с нами была ее учительница русского языка Нэста Прилуцкая, приехавшая откуда-то на своей "Кортине", по виду и разговору совершено русская женщина. Нэста сказала, что когда полетел первый русский спутник, ее послали на курсы усовершенствования в какой-то, не помню, университетский город. Случай свел ее там с живущим в этом городе русским Женей Прилуцким; они близко познакомились и поженились. Женя попал на войну студентом МГУ, оказался в плену, после войны — в Англии, работал на текстильной фабрике. В семье разговаривали только по-русски; детей у Жени с Нэстой не завелось. Несколько лет тому назад Женя умер. Когда началась у нас перестройка,

Нэста побывала в Москве в семье Жениного брата, брат с семьей тоже гостили у нее.

Элисон сказала, что Нэста научила ее русскому языку, что она может думать по-русски; Нэста привила ей любовь к предмету; так определилась судьба Элисон.

В окно дома Грантов в деревне Чесли Ноб было видно, что возле ближайшего (все же на порядочном расстоянии) дома припарковались, в разных позициях, пять автомобилей. Там же паслось несколько ослов и маленьких осликов. Элисон сказала, что в этом доме живет зубной врач, самый богатый человек в деревне. Он в детстве полюбил ослов, но родители отказали мальчику в удовольствии иметь собственного ослика. Как только мальчик встал на ноги, сразу же обзавелся ослиным стадом. И еще он любит моторы, их пять в семье зубного врача.

В заключение нашего визита в Челси Ноб Элисон свозила нас к сохранившейся кирпичной основе строения семнадцатого века, поодаль от деревни, сказала, что они с Питером решили купить сей реликт, достроить, бросовую землю вокруг возделать под сад; здесь хорошо будет детям.

Хелло, Элисон! Да поможет вам с Питером Бог! Бывает же он благосклонным к благим намерениям добрых людей.

IX

И, наконец, Маша Пущина-Вильямс, правнучка того, кому — помните? посвятил строку Пушкин: "Мой верный друг, мой друг бесценный!.." — Ивана Ивановича Пущина.

Живи она в восемнадцатом веке, ее портрет написал бы Рокотов: царственность осанки, крупный план породы — и женственность, кротость выражения глаз, со столь же ясным умом во взоре, неторопливостью жеста... Хорошее есть у нас слово (почти позабыто) — прозорливость, — очень точно передает свойство Машиных глаз: поглядишь в них и себя увидишь, каков ты есть.

В первый раз я встретился с Марией Лаврентьевной Пущиной-Вильямс в обществе дружбы в Лондоне, в 1986 году, был приглашен к ней в Хэмпстед Вэй — парковую зону, где живет аристократия: лорды, пэры. Ее мужем был мистер Вильямс, лорд, посол Соединенного королевства в Ираке, Чили, Соединенных Штатах...

Маша Пущина приехала в Англию с семьей в 1917 году, с первой волной эмиграции. В 1945-м, в качестве переводчика русского языка, в составе английской миссии, оказалась в Вене. Какую-то важную роль в миссии играл мистер Вильямс...

В Вене Маше довелось переводить переговоры — и так, беседы за столом — маршала Конева с англичанами. Можно предположить, что маршалу приглянулась русская волоокая красавица Маша, он ее предпочел другим переводчикам. Из Вены Маша Пущина вернулась в Лондон леди Вильямс. Мистер Вильямс тоже понимал толк в женских статях.

Большую часть жизни Мария Лаврентьевна провела в должности супруги посла Великобритании в разных странах. Пытливый ум, непосредственность натуры помогли ей вынести, сохранить в памяти множество самых разнообразных впечатлений. Мистер Вильямс ушел в иные миры; в родовом доме Вильямсов "Морланд Клоуз" (есть еще вилла в Уэльсе), в парке Хэмпстед Вэй, под сенью берез и дубов, с помощью персонального компьютера, Маша Пущина-Вильямс написала свою первую книгу мемуаров "Белые среди красных" (Вайт эманг ред) — о первом знакомстве с советскими, красными, в Вене, на пиру победы, среди руин и пепелищ.

Маша мне подарила эту книгу, прекрасно изданную, с цветными вклейками, запечатлевшими исторические моменты, с маршалом Коневым, персонами союзных войск на переднем плане, с портретом автора, какой тогда была Маша: серьезная милая девушка с копною мягких русых волос. Книга очень личная; непосредственное переживание "белого среди красных" преобладает в ней над скрупулезностью мемуариста: от недоверия, страха, ненависти, бездны неведения до первых подвижек навстречу друг другу, приоткрывания душ... Под маршальским панцирем Конева вдруг явило себя нечто неизъяснимо русское, доброе, как память о детстве...

Единственно, что сообщает книге тепло сочувствия, равно как и личности человеческой, так это душевная отзывчивость, открытость любви. Такова книга Маши Пущиной-Вильямс "Белые среди красных"

В последующие годы Мария Лаврентьевна написала книги об Ираке, Чили, Соединенных Штатах — с точки зрения жены посла Великобритании. Надо будет прочесть, наверное, и там интересно.

Кстати, забегая вперед... Уже в последнее наше свидание в "Морланд Клоуз", в декабре 1989 года, я спросил у Марии Лаврентьевны, как расходятся ее книги, каждая из которых представляет собой дорогое, по нашим понятиям, "подарочное" издание. Знает ли она своего читателя? Маша ответила, что понятия не имеет; раз издают, стало быть кому-то это выгодно, иначе бы не издавали. И еще Маша сообщила мне интересную деталь обратной связи читателя с писателем в Англии, совершенно невозможную у нас: за каждое прочтение книги данного автора в библиотеке автору начисляется гонорар. "Это сущие пустяки, — сказала Маша своим грудным низкого тембра голосом, — за последнее время мне перевели семь фунтов с чем-то..." Я спросил, из каких это средств. Маша улыбнулась обезоруживающей улыбкой: "Не знаю, очевидно, из муниципальных"

В декабре 1989 года в Лондоне я позвонил Марии Лаврентьевне Пущиной-Вильямс, получил приглашение пожаловать с семьей на файф-о-клок — английское чаепитие. Ну, хорошо, мы взяли такси, сели в четвероугольный черный кеб с маленькими колесами, способный разворачиваться на пятачке, с шофером впереди справа, защищенным от салона пуленепробиваемым стеклом, с трехместным сиденьем сзади, двумя откидными креслами — поехали. В дороге нам выпал случай еще раз удостовериться в обязательсности англичанина по отношению к ближнему, его ненавязчивой покладистости: у нашего кеба забарахлил мотор, таксист попросил не беспокоиться, взял нам другой кеб, отказался от платы за проеханное.

Мария Лаврентьевна вышла нас встречать. Она живет в доме вдвоем со взрослой дочерью Линой, знающей по-русски, но стесняющейся при русских говорить. Чай подавался, как в большинстве английских домой, с молоком по вкусу, с карамелями и бисквитом. Из трапезной мы перешли в гостиную, по-видимому, служившую некогда кабинетом хозяину, с его портретом, старинными гравюрами на стенах, кожаными массивными креслами. Спокойствие, основательность, выдержанность стиля, тишина стен этого дома, а также величественная простота (или простое величие) хозяйки, хорошо поработавшей с утра у компьютера над своим очередным сочинением, располагала к беседе надбытовой, о чем-нибудь общеважном. По обыкновению, смягчая высказывания улыбкой, Мария Лаврентьевна поделилась с нами, очевидно, выношенным заключением ума: "Только не надо вам копировать чей-то исторический пример, не надо строить в России капитализм. У вас это может не получиться. У России свой путь, я не знаю, какой, но у вас не может стать как у нас в Англии... Сейчас у вас много советчиков, но надо верить

себе" Как видим, английская аристократка, наследница русского аристократического рода Маша Пущина-Вильямс шпарила почти дословно по Тютчеву: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить"

Следуя нити своих размышлений, хозяйка дома высказала еще и такое предположение: "Черчилль был умный человек. И хитрый. Когда он произнес свою речь в Фултоне... считается, что с нее началась холодная война... Я не думаю, что он тогда верил, что Сталин нападет на Европу. Он знал, что у России нет сил продолжить войну. Англия тоже порядочно пострадала. Он сказал свою речь в Фултоне, чтобы побудить Америку оставить войска в Европе, взять на себя расходы, чтобы сделать Германию сильной. Черчилль защищал интересы Англии. Так все и вышло"

Дочь Марии Лаврентьевны Алина довезла нас до ближайшей к Хэмпстед Вэй станции метро...

Доброго Вам здоровья, Мария Лаврентьевна! Дай нам Бог еще когда-нибудь повстречаться.

X

На обратной дороге все шло гладко, как это заведено в Европе, поезда следовали один за другим, строго по расписанию, в вагонах нам находились места, соседи попадались улыбчивые. Куда-то ехал американец-студент из Флориды, о чем-то они живо поболтали с Катей. Потом рядом сели две белокурые, кровно-породные молодые немки, с пухлыми губами, устроенными не как у наших, а на заячий манер, все время хихикали. Еще ехала камбоджийка Фе-Лу, студентка Сорбонны, на Рождество к подруге в Варшаву, тоже смешливая, востроглазая, как пушистый зверек.

В Кельне мы сели в экспресс Кельн-Варшава, даже и мысль нам не пришла о какой-либо передряге в пути. Но поезд переехал из Западного Берлина в Восточный и тут застрял, дальше ни с места. Публика забеспокоилась, поползли разноречивые слухи: поедем — не поедем, туда — не туда. Мы оказались на стыке двух Германий (то есть уже в пределах Восточной), в исторический момент слома границы между ними, смены караула в ГДР, со всеми вытекающими из слома последствиями (включая и остановку нашего поезда). В вагон вошел служилый немец, по всему видать, восточный, с таким же злым выражением на лице, какие бывают у наших служилых, стал всех выпроваживать: "Ком хер аус!" (Я уловил именно это, потому что в зубах завяз первый школьный немецкий стишок: "Маус, маус, ком хер аус!" Мышка, мышка, выходи.) Я стал объяснять, что "Вир фарен нах Варшава..." (тоже из школьного немецкого: "Вир фарен нах Анапа"). Он злобно прокартавил: "Нихт дискуссирен!" — отставить разговорчики! Что было

делать? Мы вылезли на перрон, где над прибывающей толпой едущих сгущалась туча неизвестности, совсем как у нас. Подошел советский поезд Берлин-Москва, высунулись наружу советские мутнолицые проводники. На мои униженные мольбы взять до Варшавы одни огрызались, другие не удостаивали ответом. Наш советский поезд ушел, неизвестно кого увез. По опыту знаю, чем труднее у нас достать билет на самолет или поезд, тем больше незанятых мест окажется именно в нем. Почему так? Поди угадай!

Когда подали к перрону состав Берлин-Варшава, польский, началось вавилонское столпотворение, то самое, что, я помню, бывало у нас сразу после войны, когда брали штурмом "пятьсот веселый" Не составляло труда угадать, что едут домой поляки, работающие в Германии, разумеется, западной — на рождественские каникулы, навьюченные чемоданами, баулами, ящиками, торбами с фээргэшным барахлом. Всю эту прорву багажа принялись запихивать в открытые изнутри окна, громоздить в узком проходе. Сидячие места оказались занятыми. Наше семейство, по виду контрастирующее с толпой, все же пустили в вагон, даже порасступились: поляки — не мы, европейцы. Влезли в вагон, втянули наши скромные пожитки и зависли в проходе, где рука, где нога, где тулово. Поехали, закультыхались.

Поляки тотчас достали из загашников фээргэшную водку (по-польски вудку) — славянская душа одна у них и у нас —принялись шастать из одной компании в другую, оттаптывать нам ноги; мы прижимались к стенам, как распятый Христос ко кресту. Ехали одни мужики; выпили, загомонили, заприметили свечечкой стоящую у окна нашу Катю, стали к ней подъезжать: "Дуже добжа цурка" ("Очень хорошая дочка"). Вытеснили ей местечко в одном из купе... Так у нашей семьи появилось одно сидячее место на троих: Катя посидит, потом мама и папа.

Опять же благодаря свойствам славянской души, расположенной к кумпанству, на каком-то отрезке пути я оказался втянутым в прикладывание к бутылке, в общую толковищу. Польская речь перемешивалась с российской. Поляки удивились, что мы советские, думали, что другие. Советские ездят в советских вагонах, в этих не ездят.

Поляки ехали разные, двух одинаковых Хомо Сапиенс не бывает, но говорили об одном, изливали души: работать на чужбине у капиталиста тягомотно, но другого выхода нет, дома не заработаешь доляров (в Польше доллар зовут доляром), а без доляров по-человечески не проживешь. Жить по-человечески для поляка означало заиметь свою хоть какую собственность, завести дело или дельце.

Заполночь поезд въехал под свод Варшавского вокзала.

25 декабря 1989 года. Варшава. Самое странное в том, что грачи прилетели... в садик к Анджею Беню, на улочке Лехоня, в первое утро Рождества Христова. Черные грачи важно ходили по зеленой траве,

далеко вперед вытянув большие, прямые снизу, поверху закругленные, не то, что белые, но светлые в сравнении с оперением носы. Саврасова не хватало — написать и этих варшавских зимних грачей.

Прилетели грачи, а Саврасова нет...
От небесной свечи желтый теплится свет.
На дворе Рождество. Святый высится крест.
Безутешно, мертво стынет град Бухарест...

Молодо, не по-зимнему (поляки говорят: дуже зимне, стало быть, очень холодно) зеленели елочки, посаженные Анджеем Бенем двенадцать лет тому назад в собственном, на английский манер садике на улице Лехоня: Анджей живет на первом этаже двухэтажного дома, со стеклянной дверью в садик; елочкам-саженцам тогда было по два года, теперь они выросли в мой рост, некоторые пошли вширь, в крону, в хвою.

Пришла бывшая жена Анджея Ванда, по-польски женственно-неувядающая; бывший муж с бывшей женой взяли пилу, спилили одну из елочек — на Рождество; Ванда наломала еловых веточек, поставила в глиняный горшок — Анджею, а елочку унесла в то место, где нынче ее пристанище, пока что без мужа, Бог знает где...

С этого места можно начать повесть о странной, призрачной жизни моего сердечного друга (пшиятеля) Анджея Беня, но я не выяснил для себя, можно ли героем повести, выражаясь по-польски, заангажировать живущего въяве человека или же надо интерпретировать (опять же, по-польски) его в образ, может быть, даже и типизировать. С этой нерешенностью главного я так и пребуду, всегда поспешая за быстро идущей мимо действительностью, доверяясь ей, как любимой, вдруг хватаясь за сердце; ах, любимая уже не та... Мне всегда ближе, милее портрет с натуры, написанный на пленэре, ну вот хотя бы на фоне елочек в саду Анджея Беня.

Я шел по жизни без опаски,
Срывая походя фиаски...

Знаю, что слово "фиаско" не имеет множественного числа, но можно же поступиться грамматикой ради свободы самовыражения, обретенной на волне гласности.

Мой друг Анджей Бень потерпел фиаско на избранном пути переводчика художественных текстов с российского на польский. Нынче Анджей продает плохонькие книжонки (ксенжки) в одном из подземных переходов под Маршалковской. Впрочем, попадаются и приличные книги: томик Чехова, Солженицын, Норвид... Анджей изучил психологию прохожего, в его изложении она такова: "Какой-то-нибудь (это он, Анджей, так говорит) мужик раз пройдет, два пройдет, увидит, что я стою на месте, не гастролер, — остановится и купит. Не обязательно прочитает, но купит"

Вырученных денег Анджею Беню хватает на махорочные сигареты, на свеклу (на Рождество поляку без свекольного супа с ушками и грибами никак нельзя, равно как и без рыбы-сазана). Взрослый сын Анджея и Ванды тоже продает книги под Маршалковской. Впрочем, он уже поработал на заводе не то в Австрии, не то в Италии, поимел в кармане доляры; ежели не прокормит семью книготорговлей, опять наймется и уедет, как множество поляков.

По вечерам вместе с Анджеем к нему в дом приходят его компаньоны по распродаже книжек, пан и пани, хлюпающие покрасневшими на стуже носами, раскладывают дневную выручку, что книгодателю, что себе, распивают на троих бутылку вудки, закусывают соленым огурцом, раскуривают махорочные сигареты. Оговорюсь, так было до Рождества, в Рождество католики воздерживаются от спиртного.

Анджеева компаньона я где-то встречал, и он меня знает. Вспомнили: мы встречались в редакции журнала (магазина) "Поэзия", он — поэт, печатал в "Поэзии" свои стихи. А я... редактировал тогда один из советских журналов, у моего журнала был договор с "Поэзией" о творческом содружестве, тогдашний редактор "Поэзии" Богдан Дроздовский доводился мне пшиятелем (нынешний редактор Марек Вавжкевич — мой друг бесценный; мы с ним еще почеломкаемся, учредим посиделку в Варшаве).

Во время нашего — нашей семьи — визита Анджей Бень спал на полу в своей рабочей комнате, вповалку с любимыми псами Булей и Букашкой. Булю я знал еще в мой первый визит в Варшаву, Букашка ее дочка. Анджей представил мне своих четвероногих пшиятелей, черных с подпалинами (скорее, членов семьи): желаборжские дворняги. Желаборж — район Варшавы... А мы спали кто где, трапезничали на кухне. В рождественские каникулы все магазины в Варшаве закрыты, так что...

Однако, краткая справка. Андрей Станиславович Бень, 1941 года рождения, переводчик, член Союза переводчиков, по образованию химик, окончил Варшавский университет, был направлен на доучивание в МГУ, защитил диссертацию на тему: "Исследование возможностей разрыва связи углерода в четвертичных амониевых солях действием алькалических металлов в среде жидкого алюминия" Отход от химии, переключение на литературную деятельность кандидат химических наук Андрей Станиславович Бень объясняет следующим образом: "Когда я был мальчишкой, я писал какие-то-нибудь стихи. Мне нравился артисти-ческий путь. Хотелось писать прозу, но для этого нужен житейский фундамент, надо знать что-то-нибудь конкретное, поэтому я пошел изучать химию".

Русский язык Анджей воспринял от своего отчима, выходца из Западной Украины, тренера люблинской футбольной команды. Однажды я был в гостях у Анджеева отчима-футболиста, крепкого мужика (хотел написать

старика, но это бы не совпало со зрительным образом), с определенным взглядом на все явления жизни. Само собой разумеется, мы по-русски хорошо выпили, помню, хозяин дома с пафосом произнес монолог в осуждение почему-то неприятной ему игры в "ручной мяч" «Это еврейская игра, — с презрением отозвался о "ручном мяче" (никак не касаясь "еврейского вопроса") тренер люблинской футбольной команды. — Вот футбол — мужское дело!»

Когда Анджей Бень жил в Москве, в середине семидесятых годов, как-то купил (поляки говорят покупил) в книжном магазине только что вышедшую в издательстве "Современник" мою книгу рассказов "Други мои", за 55 копеек. (Это было важно для него, сколько стоит книга.) Тогда я получил первое письмо от моего читателя, живущего в Москве поляка, трогательное изъяснение в испытанных при чтении чувствах, с милыми полонизмами: "где-то-нибудь, покупил..." Анджей писал мне, открытому им самим автору, что начал читать мою книгу в метро, не расставался с ней до утра в общежитии, что ему очень захотелось перевести мои рассказы на польский язык...

За годы переводческой работы Анджей Бень (его приняли в Союз переводчиков в 1982 году) перевел для издательства ПАКС "Третью охоту" Владимира Солоухина (кстати, Солоухин — любимый автор ПАКСа, лауреат одной из ежегодных премий; ранее Паустовский), повесть Константина Воробьева "Крик", "Кануны" Василия Белова, "Волчью стаю", "На войне как на войне", "Урода" Виктора Курочкина. Печатал в периодике переводы стихов Леонида Мартынова, Глеба Горбовского. Сам нашел, выбрал в книжном море, обосновал перед издательством; ПАКС — издатель весьма разборчивый.

Кроме сборника рассказов "Други мои" в ПАКСе вышли еще две мои книги прозы: "Длинная дорога с футбола", "Глоток свежего воздуха" — в переводе Анджея Беня.

В годы кризиса, военного положения в Польше Анджей Бень вспомнил химию, изготовлял зубной порошок на продажу. В нынешней Польше интерес к сочинениям советских авторов, за малым исключением, свелся почти что к нулю, равно и издательский спрос на труд переводчика с российского.

Кто будет в Варшаве, отыщите в переходе под Маршаковской скромного продавца книг, в кожанке времен Пилсудского, простоволосого, седого, с прокуренными зубами, с устоявшимся на лице выражением готовности к любому повороту судьбы. Пожмите ему руку!

XI

Мы опять вместе с Джин и Яном. В нашем доме, в Питере, на канале Грибоедова английская речь, такая, как в Дорридже, на Уоррен Драйв,

12. Предстоит поделиться с гостями тем, чем располагаем, — самими собой, какие мы есть...

Тихим благоуханным вечером раннего лета едем по святым местам вблизи Новгорода, от церкви Спаса-Нередицы к церкви Спаса-на-Ковалеве. Лиловеет зацветшая картошка, пышно зеленеют луговые травы, со всех сторон нас обступила империя добра-красоты. Новгородские церкви напоминают о главном, вечном — нужде человека в указующем персте красоты. И так их жалко — церквушек, битых-перебитых...

Въехали на пригорок, все пошли вокруг церкви... Вдруг до меня донесся взволнованный покрик моей жены: "Сюда! На помощь!" Я мигом явился на зов. Высоко над входом — железной дверью, запертой на замок, — в углублении-нише в кирпичной стене, с округлым верхним сводом, на железной балке-рельсине, очевидно, крепящей нишу, сидел черный, с белыми грудкой и лапами котенок и отчаянно мяучил. Самому ему с балки было никак не слезть, спрыгнуть высоко, страшно.

Как его туда занесло? в нише имелась дверца внутрь церкви, плотно прикрытая. Кто-нибудь высадил котенка на балку? Но для чего? Или он сам?..

Поочередно с Яном мы попытались взобраться в нишу к котенку, но тщетно; основание ниши гладко, покато, не за что ухватиться. Я выломал сухой ольховый дрын, думал спихнуть котенка с балки, понудить его к единственно спасительному прыжку. Но котенок еще больше ошалел от страха, горько плакал...

Я рассудил, что лучше бы нам уехать: котенок поуспокоится, сообразит, что к чему, да и соскочит. Или за ним придут, котенок-то домашний. До ближайшего дома было не далеко, но порядочно, чтобы котенок сам прибежал в святой храм...

Мнения разделились: женская половина моей семьи и слышать не хотела, чтобы бросить котенка в беде; англичане сохраняли нейтралитет. Положение становилось щекотливым. Англичане тихо посовещались, не сказавшись нам, молча пошли вниз с горы, в направлении ближайшего дома. Я смотрел им вслед, как они идут по пустынной дороге, от храма Спаса-на-Ковалеве — куда?.. О чем-то поговорили с поливавшим огород домовладельцем, не знаю, на каком языке. Прихватили две доски из штабеля, принесли... Приставили одну из досок покато к двери, Ян взошел по ней к нише (я его подпирал снизу), неся другую доску в руках. Он воздынул ее в нишу таким образом, чтобы котенок... Кошачий ребенок тотчас смекнул, осторожно сполз по доске, спрыгнул в траву. Все пережили радость вполне конкретной победы добра над злом.

Как видим, и тут, в самом сердце России, англичане оказали себя молодцами, по-божески отнеслись к Божьей твари, попавшей в беду. К

слову, котенок как таковой, похоже, не занимал наших англичан, они к нему и не прикоснулись; им важен был принцип: довести начатое до благоприятного результата, не бросить на полпути, не обмануть хоть чьюнибудь надежду.

Хелло, Джин! Хелло, Ян! Мы вас вспоминаем добром. Икается ли вам в вашем Дорридже? Или англичане вообще никогда не икают?

Едем по Новгородчине, окунаемся в чистые тона раннего лета, перелетываем по мосткам через задумчивые речки, окатываемся голубизною озера Ильмень... Свернули с большака в Россию избяную, колодезную, с бабушками на завалинках, котами на крылечках, ракитами у обочины. Моя машина так хорошо знает дорогу сюда — в село Старый Шимск на берегу Шелони, — что и править не надо, сама выбирает ту избу, где нас ждут. Встретить вышел хозяин, румяный, голубоглазый, побритый, лучащийся радушием, в новом костюме и полуботинках, в свежей сорочке — Иван Александрович Ленькин, местный крестьянин, мастер корзины плесть и вирши слагать, мой сердечный приятель, поэт. Когда я был редактором журнала (когда я на почте служил ямщиком), то иногда печатал вирши старошимского поэта-крестьянина, ясно-простые, как утро над Шелонью, звонко-переливчатые, чистые по звуку, как родник, узорно-изукрашенные, как деревянное кружево

наличника, многоцветно-духмяные, как заречный пойменный луг, по-детски непосредственные, по-отечески добросердечные... Местами малость занудные, не без того. Если жаворонка день-деньской слушать, и тот прискучит, и соловей: все про одно и то же, а нам подавай и того и этого...

Повисло небо синим плесом;
Над плащаницей тихих вод.
Дергач травы зеленой косы
То расплетает, то плетет.

Ах до чего здесь воздух свежий,
Еще свежей в лесном бору.
Восток свежей в лесном бору.
Восток безоблачный разнежен,
Зарю качает на ветру.

.....

И распыляется свет алый,
Как золотистая пыльца.
Берет здесь жизнь свое начало
С порога сельского крыльца.

Берет с полей, озер и речек,
Где мы ростками проросли,
Где стрекотал не раз кузнечик
И журавли тепло несли.

Несли туда, где луга ситец
На свадьбы лето раздает.
Любите, радуйтесь, живите
Пока земля моя поет.

У Ивана Александровича все приготовлено, складываем в багажник ведро под уху, котел под чай, ложки-тарелки, хлеб, лук, перец, картошку, лаврушку. И дровец для костра. Едем на берег; река, уширяясь, успокаиваясь, неподалеку вливается в Ильмень... Как по щучьему велению, к берегу причаливает лодка, а в лодке рыба — шелонская, ильменская: меднобокие, красноперые окуни-лемеха, судаки востроносые, шибко скусные... У Ивана Ленькина все предусмотрено: рыба поймана, таган излажен, лучина на растопку нащепана. Костер возгорается, над костром ведро с ухой (вышкерить рыбу — моя работа). Ну, что же? Вот вам и Россия, гостюшки дорогие! Хотите, лежите на траве-мураве, солнышком согретой; хотите, войдите в реку Шелонь, она вас шелками окутает, понесет в сине-море Ильмень... Вон, видите, косари, — мужики в белых рубахах, бабы в белых косынках — так было всегда на Руси, даже в

самом ее начале. Надышитесь мятой и зверобоем! Насытьтесь Россией, возьмите ее с собой в Англию, сколько можете увезти, нам не жалко!

Между тем уха готова, можно в этом удостовериться: прихватить рыбину за плавник, если он остался у тебя в руке, снимай ведро с тагана... Но минутку терпенья: Джин пришла какая-то идея... Джин спрашивает разрешения опустить в ведро одну дезинфицирующую таблетку: ей в Англии говорили, что вода в России... Ну что же, быть по сему: кидаю в котел убийственное для микробов английское снадобье, вчуже сострадаю микрофауне, не ожидавшей такого подвоха...

Располагаемся на траве хлебать уху, лакомиться белым рыбьим мясом (кости, хвосты, плавники — чайкам). Уха заведомо великолепна: сварена в той воде, откуда родом рыба; не уха — объедение! Джин сказала, что в Англии нет такой рыбы, что она в первый раз в жизни отведала уху — немыслимо вкусно! Кушайте на здоровье! Еще добавить?!

После ухи пьем чай, тоже вкусный, из шелонской воды... Ваня Ленькин давно ждет момента... прочесть стихи. Начинает и кончает на одной ноте, как птица песню. И все понятно, не надо переводить. "Пусть он напишет то, что прочел, — сказала Джин, — мы возьмем с собой, дадим перевести на английский Элисон Грант, или, еще лучше, Нэсте Прилуцкой... и я напечатаю книжку в своей типографии: стихи по-русски и по-английски. Только надо приобрести русский шрифт... Эвелина нарисует обложку. И мы пришлем Ивану..." Вот как все быстро можно решить, без ВААПа...

Иван ложится брюхом на траву, пишет в данном ему английском блокноте утром родившиеся стихи... Ах если б он знал тогда, что из этого выйдет... Если бы нам сказали, что станется с нами через какие-то несколько лет...

Который день едем, едем. Вот это — река Волхов, это Старая Ладога, древнейшее поселение русских... Англичане мурлычат: вери найс! екселэнт! Наше маленькое общество советско-английской дружбы основано на одной взаимной приятности; так много синяков набили мы при заведенной у нас твердости, так хочется мягкости!

Рейс Ленинград-Лондон состоится в назначенное время. Вместе с Джин и Яном мы движемся к той черте, за которую без визы не пускают. Дошли до черты и кинулись в объятия друг другу. Даже стоящий за стойкой малый с постной рожей улыбнулся: за что эти русские так любят этих англичан? за что эти англичане так любят этих русских?

Окончание следует